

ISSN 0321-2904

Литературное Обозрение



Феномен Солженицына

99' 1



99'1
1 (273)

Литературное Обозрение

Журнал
художественной литературы,
критики и библиографии

Издается с января 1973 г.

Москва

Учредитель и издатель —
ООО «Литературное обозрение»

Директор
Виталий Бенкин

Главный редактор
Виктор Куллэ

Редколлегия
Николай Александров
(современная литература)
Петр Ефремов
(главный художник)
Михаил Одесский
(история и теория литературы)

Редакционный совет

Михаил Айзенберг
Виктор Астафьев
Яков Гордин
Валерий Золотухин
Тимур Кибиров
Михаил Козаков
Лев Лосев
Владислав Муштаев
Валентина Полухина
Лев Рубинштейн
Татьяна Цивьян
Александр Чудаков

Адрес редакции:

127254, Москва,
ул. Добролюбова, 9/11

Телефон: (095) 219-92-63

Факс: (095) 218-03-98

© «Литературное обозрение», 1998
Любое воспроизведение
без разрешения издателя запрещено

СОДЕРЖАНИЕ

Феномен Солженицына

Иосиф Бродский
География зла. Публикация Виктора Куллэ 4

Павел Спиваковский
Феномен Солженицына 8

Роман Яacobсон
Заметки об «Августе Четырнадцатого».
Пер. с англ. Т.Т. Давыдовой. Комментарий П.Е. Спиваковского 19

Татьяна Вознесенская
Лагерный мир Александра Солженицына:
тема, жанр, смысл 20

Сергей Кормилов
«Мы забыли, что такие люди бывают».
Ахматова и Солженицын 25

Лев Лосев
Поэзия и правда у Солженицына 30

Лидия Колобаева
«Крохотки» 39

Юрий Цурганов
«Исследования новейшей русской истории».
Под редакцией А.И. Солженицына 45

Шамиль Умеров
Александр Солженицын и ненасилие 49

Ксения Маёрова
Заметки о языке и стиле эпопеи А.И. Солженицына
«Красное Колесо» 55

Павел Спиваковский
Краткая библиография сочинений А.И. Солженицына
и работ о нем 58

Arg poetica

Михаил Поздняев
Из книги «Подражание древним» 69

Непереводимое — сущностное

Лев Рубинштейн
Дружеские обращения 1983 года 73

«...кристалл в перенасыщенном растворе культуры».
Беседа Павла Грушко со Львом Рубинштейном 76

Приношение Пушкину

Ольга Земляная
О «Капитанской дочке» и литературе как учебнике жизни **81**

Литературный процесс

Владимир Новиков
Четыре литературных конъюнктуры XX века.
К постановке вопроса **90**

Геннадий Прашкевич
«Каждый охотник...». Обзор поэтических книг,
вышедших в Сибири в 1994-1998 годах. Часть первая **94**

Наталья Васильева
Взойти на гору с грузом лет за спиной... **105**

Рецензии

Николай Сысола
«Необроненное золото...»
(Юрий Кублановский, «Заколдованный дом») **109**

Ольга Канунникова
Изнанка стула (Самуил Лурье,
«Разговоры в пользу мертвых») **110**

Номера журнала
можно приобрести
в редакции
и в книжных магазинах:

«Московский Дом книги»
Москва, Новый Арбат, 26

«Гилея»
Москва, ул. Б.Садовая, 4

Компьютерная верстка
Ю. В. Балабанов

Корректор
Г. В. Чуба

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Свидетельство о регистрации
№ 015130 от 01.08.96.

Подписано к печати 20.08.98
Формат 84x108 1/16
Бумага офсетная
Усл. печ. л. 11,76
Тираж 2900 экз.
Заказ № 1973

Отпечатано с готового
оригинал-макета
в типографии издательства
«Красная звезда».
123826, Москва,
Хорошевское шоссе, 38



При подготовке блока материалов, посвященных 80-летию Александра Исаевича Солженицына, редакция пыталась привлечь работы максимально разносторонние, надеясь, что пересечение филологического, эстетического, исторического, лингвистического, социологического, даже библиографического подходов позволит нам хотя бы отчасти приблизиться к пониманию загадки юбиляра. В чем причина необычайной притягательности этого человека? Четыре десятилетия едва ли не каждое его слово (и устное и, уж конечно, печатное) вызывает бешеное неприятие и едва ли не благоговение, поучает, будоражит, подчиняет своему императиву, провоцирует на спор.

Надеемся, что читателю после знакомства с номером хотя бы отчасти станет понятнее этот загадочный человек, один из немногих в те годы дерзнувший «жить не по лжи». В любом случае небезынтересны будут заметка Романа Якобсона, давняя статья Льва Лосева, снабженная новейшим авторским послесловием, конечно же, библиография и труды современных исследователей. А открывающая номер рецензия Иосифа Бродского на американское издание «ГУЛага», будучи адресованной читателю другого полушария, своим названием намекает на универсальность карты, на которой первооткрывателем нанесен самый жуткий из архипелагов.

Иосиф Бродский

География зла

Потому что человек в состоянии уразуметь только то количество зла, на которое он сам способен, все попытки художественного или документального описания преступлений, производимых в государственном масштабе, обречены на неудачу. Поле деятельности каждого из нас ограничено 2-3 лицами, и все, что выходит за пределы этой цифры, превращается в абстракцию. В этом — залог безнаказанности режимов, проводящих массовые репрессии.

Теоретически, адекватный анализ и осуждение преступлений (того или иного) государства может быть осуществлен только другим государством. На практике же необходимым условием Нюрнбергского процесса оказывается мировая война. Не случись ее, мы бы по сей день внимали соловьям, поющим о «международном праве», «национальном суверенитете» и «политике невмешательства» во внутренние дела Третьего Рейха.

По счастью, идея «национального суверенитета», парализуя этику государства, не в состоянии парализовать этику индивидуума. Хотя и с риском для жизни, индивидуум может позволить себе роскошь собрать показания свидетелей и учинить свой Нюрнбергский процесс. Именно это — обвинительный материал и самое обвинение — и представляет собой «Архипелаг ГУЛаг» А.Солженицына. Читатель приглашается принять участие в процессе в качестве наблюдателя. Несомненным преимуществом участия в данном разбирательстве является то, что от вас не требуется предварительного пролития ни своей, ни чьей бы то ни было крови. Другое дело, захотим ли мы участвовать.

Первое возражение: книга слишком длинная; в наше время мы привыкли иметь дело со сфокусированным материалом. Фотографиям и фильмам везет больше, чем книгам, именно в силу их моментального характера. Но и психологические последствия просмотра этих фотографий и фильмов также моментальны, фрагментарны. Фотография/фильм есть комфортабельная форма истины, не требующая нравственной

оценки со стороны зрителя, ибо этический выбор совершен уже самим фотографом, нажавшим на спуск. Своим представлением о Дахау или Хиросиме рядовой американец обязан скорее телевизионному экрану, чем собственным умозаключениям¹.

Но количество нажатий на спуск меньше количества нажатий на гашетку². Всякая книга зла длинна и монотонна, но таковы особенности жанра, ибо жанр этот — эпический. И писатель, о котором идет речь, писатель эпический. Эстетические критерии нормальной художественной литературы здесь неприменимы, как и неприменимы критерии нормального общества к самому феномену. Подвергая данное произведение литературоведческому анализу и автоматически приходя к неутешительным результатам, мы обманываем самих себя³: это как игнорировать гул бомбардировщика, ссылаясь на Моцарта. Бомбардировщик продолжает гудеть, и звук этот становится все громче. Нам надо что-то делать с нашими эстетическими и этическими критериями; в противном случае нас ожидает страшный сюрприз.

Зло не заботится о гармонии, и сила его — в рутине. То же самое можно сказать и об этой книге. Она *недостаточно* длинна, и два тома, которые еще остаются англоязычному читателю, тему не искупают: о шестидесяти миллионах насильственно умерщвленных рассказать невозможно, даже если попытаться, как пытается Солженицын, обнаружить стереотипы. Стереотип, однако, прием, и писателю приходится прибегать к приему, в то время как смерть к приему не прибегает и всякий раз индивидуальна.

Солженицын, полагаю, сознает это, и сознает, что его попытка обречена. Отсюда — объем этого произведения, а вовсе не потому, что автор мыслит о себе в категориях автора «Человеческой комедии». Следует только приветствовать, что у него хватило эстетического — как это ни парадоксально — чутья отказаться от «чувства меры», воспитанного в нас литературой девятнадцатого столетия. Беллетристическая технология сведена в «Архипелаге ГУЛаг» к чисто функциональной роли, ибо литература в свете смерти попросту неадекватна. Солженицын начинал как нормальный романист, но, произведение за произведением, мы видим, что форма романа у него, так сказать, расширяется. Существует огромная стилистическая разница между «Одним днём» и «Раковым корпусом»; еще большая разница возникает между «Раковым корпусом» и «В круге первом». От первой книги к третьей мы видим отчетливое размывание границ жанра новеллы⁴. «Архипелаг» знаменует собой полный отказ от нее. Ибо в человеческом Аду больше кругов, чем в Господнем.

Иными словами, новый опыт исключает предшествующие жанры. Литературную критику гораздо больше бы удовлетворило, если б Солженицын развивался в классическом русле, которое на сегодняшний день завершается Беккетом⁵. Но все дело в том, что абсурд — далеко не последнее слово человеческого опыта. После абсурда человека еще можно поставить к стенке или изнасиловать на допросе его жену. Где, в таком случае, оказывается художественная литература?

Короче говоря, литература одомашнивает зло. Интеллектуальное превосходство писателя, автоматически адаптируемое читателями, убеждает последних в их превосходстве над объектом повествования. Солженицын добивается обратного. Средства, которыми он пользуется, чрезвычайно бедны и полностью заимствованы из арсенала «социалистического реализма», но здесь-то они оказываются как нельзя более к месту. Всякое литературное направление имеет свою периферию и свои вершины, и я бы назвал автора «Архипелага ГУЛаг» гением «социалистического реализма». Если советская власть не имела своего Гомера, в лице Солженицына она его получила.

Эта книга написана, безусловно, в первую очередь для русского читателя, но отказываться от ее чтения на этом основании — все равно что отказываться от чтения «Илиады» на основании незнания греческой мифологии и труднопроизносимых имен. Общим знаменателем этих двух произведений является тема разрушения: в одном случае — города, в другом — нации. Возможно, что через 2 тысячи лет чтение «ГУЛага» будет доставлять то же удовольствие, что чтение «Илиады» сегодня. Но если не читать «ГУЛаг» сегодня, вполне может статься, что гораздо раньше, чем через 2 тысячи лет, читать обе книги будет некому⁶.

Зло не есть понятие географическое, но даже если свести его к таковому, то сегодня, когда благодаря техническому прогрессу мы снова оказались в библейской ситуации — на расстоянии брошенного камня — следует попристальной приглядеться к «своему брату». По отношению к жертвам тех или иных катастроф мы всегда занимаем несколько превосходительную позицию: позицию присутствующих по отношению к отсутствующим, большинства — к меньшинству. Но если внимательно посмотреть на глобус, мертвых внутри у него больше, чем живых на его поверхности. Если не читать эту книгу, у нас есть шансы приблизиться к реальному большинству скорее, чем мы предполагаем. Как и все на свете, зло существует на трех уровнях: вероятности, возможности и реальности. Повторение «ГУЛага» или подобного феномена к Западу от Гринвича чисто статистически вероятно, психологически — возможно; что касается его реального лица, то, благодаря Солженицыну, мы обладаем вполне убедительным портретом⁷. К сожалению, фотоаппараты и кинооператоры на территорию лагерей усиленного режима не допускались и не допускаются; если же допускаются, то без камер, и назад не возвращаются. Москва в этом — как и во многих других отношениях — сильно отличается от Сайгона. А в наши цивилизованные времена то, что не появляется на экране телевизора, приравнивается к несуществующему. Поэтому, говоря о «своем брате», мы все время сбиваемся на фразеологию Каина.

Речь идет не о русской паранойе, не о мании преследования: в этом отношении мы, русские, счастливые люди, потому что всякий раз, когда нам кажется, что нас кто-то преследует, выясняется, что это просто сотрудник государственной безопасности. Речь в этой книге идет о человеческом феномене, об уничтожении большинства меньшинством, ибо каким бы гран-

диозным аппарат госбезопасности в СССР ни был, он все-таки значительно уступает числу своих жертв. Речь идет о процессе, чрезвычайно аналогичном самому процессу нашего мышления. В сознании любого убийцы присутствует некий догматический элемент, будь то ревность, месть, жажда наживы или ощущение собственной правоты. Идеальной представляется ситуация, когда ответственность за акцию берет на себя государство (будучи априори ненаказуемо), поставляющее для этой акции идеологический мотив. Идеальной — потому что что может быть идеальней совпадения догмы и инстинкта?

Догма, как таковая, всегда является реакцией на разнообразие выбора. Это обстоятельство снижает национальный колорит «ГУЛага», придавая данной книге зловещую универсальность. Ибо телу решительно все равно, кто в него посылает пулю: «шмайсер» или «калашников». В конечном счете пуля, с ее укусоносительностью, есть идеальный выразитель догмы. Что касается нашего автора, то потому, что он довольно долго ходил под дулами как тех, так и других, мировая война для него не кончилась. По крайней мере, он оказался не в числе победителей: 9-го мая 1945 года, когда гремел салют Победы, он сидел в одной из самых знаменитых тюрем победившего государства.

От человека, тело которого, таким образом, явилось общим знаменателем двух зол, из которых ни одно ни меньше, можно ожидать альтернативных предложений, и здесь мы переходим к Солженицыну-публицисту⁸. Авторы сборника «Из-под глыб», в котором Солженицын принимает участие тремя статьями, и автор книги «О социалистической демократии» заслуживают внимания уже хотя бы потому, что они являются как бы питательной средой Солженицына, сами, в свою очередь, питаясь от него. В общих чертах тематику «Из-под глыб» можно охарактеризовать как суммирование опыта России в XX веке, поиск решения, что делать России дальше, в каком направлении ей двигаться и в состоянии ли она двинуться вообще.

Признавая невозможным при существующем аппарате государственного контроля какие-либо попытки радикальных перемен, авторы сосредотачивают свое внимание на индивидуальных путях освобождения из-под гипноза государства; в качестве наиболее эффективных средств предлагается пробуждение религиозного сознания и внерелигиозные системы самосовершенствования. То есть, ревитализация церковных институций или нравственное неповиновение без применения насилия — смесь Толстого и Ганди. Сборник содержит, среди всего прочего, блестящую инвективу Солженицына против нынешней интеллигенции и этим как бы развивает идеи сборника «Вехи» (вышедшего в России полстолетия назад накануне революции), продолжением которого «Из-под глыб» и было задумано.

Для читателя этого полушария «Из-под глыб» представляет главным образом этнографический, познавательный интерес. Потому что ничто не иллюстрирует «статус-кво» лучше, чем описание альтернативы. Другое дело, содержат ли предложения авторов сборника подлинную альтернативу.

Все авторы сборника исходят из той предпосылки, что катастрофа, обрушившаяся на Россию в этом столетии, содержит в себе некий урок — как для самой России, так и для остального мира (последнее во всяком случае верно) — и является как бы испытанием нравственной жизнеспособности нации. В связи с этим хотелось бы заметить следующее: любая катастрофа, включая социальную, суть экзистенциальное явление и, как таковое, смысловой нагрузки на себе не несет, как извержение вулкана. Оценить ее размер можно только по количеству — но не по качеству выживших⁹. Единственный урок, который катастрофа дает, это то, что она *может случиться*. Нравственное состояние нации после катастрофы (особенно социальной) равно нравственному состоянию до катастрофы. Предполагать обратное значило бы предполагать, что революция (по крайней мере, революция 1917 г.) совершается руками нации. Это не соответствует истории (по крайней мере, русской). Революции совершаются политическими группировками и *охватывают* нацию, как пожар в одном доме охватывает квартал. Предполагать обратное значило бы, что коллективизация и террор 36-37 года были делом рук народа. Это также не соответствует истории. Ибо именно народ был объектом коллективизации и объектом террора, осуществлявшимися государством, т.е. другой — пусть и меньшей — частью народа. Иными словами, социальная катастрофа не приходит извне: нация всегда и свой палач, и своя жертва. Боюсь, что любой колхозник понимает это лучше, чем авторы сборника «Из-под глыб», ибо если нация и вынесла что-то из полувекового пожара, это сознание двойственности, амбивалентности своей природы — сознание, присущее России задолго до Октября 1917 года. В человеке две бездны, учил Достоевский, и он не выбирает между ними, но мечется как маятник.

От маятника вылечить нельзя. Русское двоемыслие и двоеречие, сколь бы несимпатичны они ни казались, на самом деле указывают, что этот народ находится ближе к экзистенциальной сути бытия, чем какой-либо иной, предпочитающий правую или левую стенку часового футляра. Солженицын сам утверждает, что граница между добром и злом проходит не по географической карте, но через человеческое сердце. Но при этом он отказывается сделать следующий шаг: признать их соседство данностью, статусом-кво. Он настаивает на том, что Добро победит Зло, — результат примитивно понимаемого христианства: ибо у Господа есть Рай, но у Него же есть и Ад.

Слабость аргументов авторов «Из-под глыб» именно в этом — в животном неприятии идеи/картины экзистенциального ужаса, в трактовке его как результата социальной догмы. Догма — надо отдать ей должное — сделала гораздо больше, чем кто/что-либо для вящего этого ужаса обнажения (вследствие чего она принимает всякое его — ужаса — описание как упрек на собственный счет; отсюда все, что происходит с писателями в России на протяжении этого столетия). Но она только обнажает — порой буквально обнажает — то, что *есть*. В некотором смысле, догма (причем любая) есть всего лишь акселератор: она просто ускоряет процесс осозна-



Старший лейтенант Солженицын в блиндаже.
Шипарня, февраль 1944

ния человеком сущности бытия, и на Страшном Суде могла бы этим ускорением отговориться.

Христианские идеалы, пусть даже примитивно понятие, выглядят, безусловно, привлекательнее «бесклассового» общества; но не следует забывать, что последнее наследует первому. Либо что-то не в порядке с Христианством, как таковым, либо с нашим его пониманием, если такая преимственность оказывается возможной. Поэтому проповедь пробуждения религиозного сознания и восстановления церковных институций звучит несколько неубедительно. К моменту революции на территории России работало 300.000 священников, тем не менее, случилось то, что случилось. На мой взгляд, именно низкое качество церкви на Руси ответственно за весь тот жуткий бред, который имел и имеет место на протяжении последних 3-х столетий. Что касается программы внерелигиозного внутреннего самоусовершенствования, то первым условием авторы «Из-под глыб» выдвигают необходимость жертвы — комфортом, положением в обществе и т.п. Тому подобного не так уж много: по статистике Объединенных Наций, Россия занимает одно из последних мест в смысле уровня благосостояния. Только что выбравшаяся из вековой нищеты, из послереволюционной и послевоенной разрухи, Россия мало-помалу начинает обзаводиться самыми элементарными вещами (по стандартам нашего времени), и сомнительно, чтобы отказ от телевизора, автомашины, двухкомнатной квартиры и финской мебели нашел горячий отклик в сердцах даже лучших представителей населения. От комфорта можно отказаться в третьем поколении, реже во втором и никогда в первом. Призыв к самоограничению, к отказу от благ, поставляемых

государством в обмен на сотрудничество с этим государством, ложен не только потому, что другого источника этих благ нет, но и потому что даже если представить себе «торжество справедливости», оно выразится в том же самом автомобиле, телевизоре, холодильнике, двухкомнатной квартире и заграничной командировке, в той или иной комбинации материальных ценностей. Приравнять обладание недвижимостью к символам нравственной капитуляции — такой же вздор, как приравнять нищету к нравственному торжеству. См. Бангладеш¹⁰. В конечном счете это — вариация на тему «Бытие определяет сознание».

Исключение, пожалуй, составляет статья И. Шафаревича «Социализм», рассматривающая негативный фундамент последнего без христианской предвзятости, но как воплощение негативных начал, содержащихся в самом человеческом бытии. Автор чрезвычайно убедительно очерчивает сюрреалистическую сущность социализма и отвержение им рационального мышления, как такового. Однако, он упускает из виду, что — по Марксу — задачей социализма является выведение нового типа человеческой особи, равно независимой от сил природы и сложившегося социума; т.е. социализм представляет собой всего лишь средство достижения (пусть и абсолютно безумной) цели, в то время как Шафаревич рассматривает его как цель, несправедливо приравнявая духовное самоуничтожение homo sapiens'a к физическому, хотя и не исключено, что социализм, принявший государственные формы, способен осуществить второе прежде первого: практика СССР это только подтверждает, и автор находится под ее гипнозом.

Остальные авторы, при всем разнообразии их стилей и используемого материала, объединяются в одном: в стремлении завершить свои статьи позитивной нотой, чем-то «жизнеутверждающим». Это восходит к учительской и утешительной тенденции русской художественной и философской прозы 19-го века — к тенденции оправдания — в самом широком смысле и на самом высоком метафизическом уровне — существующего порядка вещей. У тенденции этой, естественно, сильный христианский пафос, и все жанры, включая самую жесткую сатиру, как бы освящены ею. Что, однако, хорошо для литературы, то оказывается тормозом для аналитической мысли, и сборник «Из-под глыб» наилучшая иллюстрация зависимости мышления от гармонических законов языка мыслителей, предопределенных литературой. Что делает только честь русской литературе.

Если в нравственном отношении предлагается самоочищение, то в политическом — возврат к теократическому порядку и/или регионализму, децентрализации. Авторы, исключая, как несуществующую (в чем они — правы) перспективу ослабления тоталитарного государства, предлагают его съедобный вариант. Это относится к статье Агурского и, в большей степени, к книге Р. Медведева «О социалистической демократии». Характер этой книги определяется ее названием, в котором «демократии» предшествует прилагательное. Ее психологической предпосылкой является любимая идея желающих себя уважать аппарат-

чиков, что Маркс и Ленин были извращены Сталиным и что на самом деле существующая система — в корне хорошая система; единственно, что нужно сделать, это очистить ее от извращений. Второй предпосылкой является взгляд на демократию не как на идею общества, но как на государственный механизм.

Из этого, прежде всего, следует, что демократию можно приспособить к целям тоталитарного государства, от чего последнее только выиграет. И 405 страниц повествуют о том, как это следует осуществить. В отличие от авторов «Из-под глыб», не верящих в демократические преобразования «сверху», Рой Медведев толкует именно о преобразовании СССР в социалистическую демократию руками партийного аппарата, к верхушке которого эта книга и обращена, как к аудитории, которая одна и способна понять содержание. И, поняв, предпринять что-либо в соответствии с прочитанным. Это — своего рода Маркиза де Помпадур, нашептывающая на ухо кремлевскому Людовику XV-му, что особенно замечательно, это язык Медведева, совершенно в точности воспроизводящий язык партийных официозов. При этом, естественно, автора греет мысль о том, что он действует «по науке», т.е. что в его подходе есть много общего с западными марксистами и экономистами, на которых он часто ссылается. Не будем отрицать: *есть*. Делается все это, безусловно, из самых лучших побуждений: заботы о судьбе своей страны, своего народа, и пафос у этой книги довольно прагматический: посмотрим, что можно хорошего сделать в существующих рамках¹¹.

<...>

На долю России в этом столетии выпал действительно уникальный опыт. Беда в том, что опыт еще не кончился, и попытки его суммирования скорее свидетельствуют о степени отчаяния, чем о степени презрения. Тем не менее, отказываясь от чтения этих книг (даже просто откладывая их в сторону) по соображениям эстетическим либо — недосуга, мы тем самым совершаем этический выбор в пользу зла. Лишенное реальных шансов окончательной победы, Зло поэтому наделено имперской природой, и нынешним обитателям демократий следует помнить о том, о чем ничего не знали граждане Афинской республики.

Примечания

Публикуется по разрешению «The Estate of Joseph Brodsky». Английская версия «Географии зла» опубликована в переводе Барри Рубина (Barry Rubin) в 1977 году: Brodsky J. The Geography of Evil. Review of *From Under the Ruble* by A. Solzhenitsyn et al; *The Gulag Archipelago III, IV* by A. Solzhenitsyn; *On Socialist Democracy* by R. Medvedev // Partisan Review. Vol. 44. № 4. Winter 1977. P. 637-645. Рецензия написана по-русски, черновик ее сохранился в архиве поэта в Нью-Йорке. Текст настоящей публикации подготовлен по черновику, представляющему собой разрозненные листы машинописи с различными частями рецензии и авторской правкой, при сопоставлении их с опубликованным английским переводом. Русский и английский варианты не совпадают, что оговорено в примечаниях. При подготовке текста были исправлены опечатки, расшифрованы сокращения и уточнены названия произведений А. И. Солженицына («Гулаг» за-

Павел Спиваковский

Феномен Солженицына

За меня не будете в ответе,
Можете теперь спокойно спать.

Анна Ахматова

менено на «ГУЛаг»). Печатается с сохранением особенностей авторской орфографии, с незначительным сокращением.

¹ В английском варианте за этим абзацем следуют еще два, один из которых, со слов «К сожалению, фотографии и кинооператоры...», завершает 11-й абзац настоящего текста, а другой отсутствует в русской версии: «But man is not monkey to be educated by pictures. As far as truth is concerned, words a better medium than images, for images, after all, are artifacts. *Gulag* is certainly 100 long as *Das Kapital* and *The Interpretation of Dreams*. And in a way *Gulag* sums up these two: together they make a modern man's trilogy: without any one of them the portrait of the human psyche is not complete». («Но человек не обезьяна, чтобы обучаться по картинкам. Что касается передачи истины, слова служат лучшими посредниками, чем изображения, поскольку изображения, в конечном счете, являются артефактами, «ГУЛаг», несомненно, слишком длинен, так же, как «Капитал» или «Толкование сновидений»; и в некотором смысле их суммирует. Вместе они составляют трилогию о современном человеке: без любого из них портрет человеческой души будет неполным».)

² В английской версии эта фраза отсутствует.

³ В английском варианте вместо следующей фразы: «Solzhenitsyn is not out to create a work of fiction here, but a work of truth. Accordingly, he uses literature and its devices as mere tools» («Солженицын стремился здесь создать не произведение беллетристики, но произведение правды. Соответственно, он использовал литературу и ее приемы всего лишь как рабочие инструменты»).

⁴ В английской версии за этим предложением следует другое окончание абзаца и еще один абзац, отсутствующий в русской: «In either case, *Gulag* stands apart from existing genres and mocks both Russian and English literary tradition. It absorbs genres in the same way the *Gulag Archipelago* absorbed lives. The manner of Solzhenitsyn's narrative fluctuates widely: it includes dry bureaucratic information, stream of consciousness, imitation of folk speech, the elevated tone of formal elegy, the lingo of criminals, parodies of official statements, Turgenev-like passages of beautiful prose. Often this occurs within one sentence, but this is the way Russian speak. If it were not in translation, this book's linguistic fabric alone would give readers shivers». («В любом случае, «ГУЛаг» не укладывается в существующие жанры; он насмехается и над русской, и над английской литературной традицией. Он поглощает жанры так же, как реальный ГУЛаг поглощал жизни»).

Манера солженицынского повествования колеблется в широких пределах, включая в себя сухие бюрократические справки, поток сознания, сказ, возвышенный слог правильной элгии, воровской жаргон, пародии на официальные заявления и куски прекрасной прозы в духе Тургенева. Часто все это существует внутри одного предложения, но русские так и говорят. Будь это не в переводе, одна словесная ткань этой книги способна повергнуть читателей в трепет».

⁵ В английской версии вставлено предложение: «In fact, Solzhenitsyn was quite close to that in certain chapters of *Cancer Ward*». («Вообще-то, Солженицын был чрезвычайно близок к этому в некоторых главах «Ракового корпуса»).

⁶ В английской версии приведенный выше абзац опущен.

⁷ Последующий конец абзаца следует в английской версии за 4 абзацем.

⁸ Это начало абзаца в английской версии отсутствует.

⁹ Это предложение в английской версии отсутствует.

¹⁰ Эта ремарка в английской версии отсутствует.

¹¹ Далее в черновике следующий текст: «Чтоб закончить разговор об этой книге, я бы хотел отослать уважаемого читателя к цитате, хоть и длинной, но зато достаточно красноречивой». Сама цитата не выписана. Приведенная в английском тексте объемная цитата из книги Роя Медведева (Р. 160-161) иллюстрирует высказанную автором выше характеристику. Желающих отсылаем к книге Медведева или к английской версии статьи.

Публикация Виктора Куллэ

О н среди нас — уже восемь десятилетий. Это много. Но даже и сейчас — что мы, современники, можем сказать о нем? Чего стоят все эти наши казенно-обязательные восторги по поводу якобы лучших в его творческом наследии и с тех пор «непревзойденных» двух ранних рассказов?¹ Но даже если и говорить лишь о рассказах — почему выбраны только «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор»? Чем хуже, например, «Правая кисть»? Только тем, что это произведение не могло быть напечатано в СССР в 60-е годы и его оказалось труднее переосмыслить в духе популярных в ту эпоху идей «возвращения к ленинским нормам»? А чем хуже солженицынские рассказы 90-х годов: «Эго», «На краях», «Молодняк», «Настенька», «Абрикосовое варенье»?² Это ведь подлинные шедевры русской прозы XX века.

Но нет, нам удобнее ничего не менять в нашем послушном следовании шестидесятнической догматике. А. И. Солженицын для нас если и терпим, то лишь самый ранний, да еще просеянный сквозь сито советской цензуры. Ну, придется, конечно, что-то сказать и об «Архипелаге» (совершенно очевидно: книга эпохальная). Кто-то (это по желанию) вспомнит о «Случае на станции Кочетовка», перевирая название станции на старый, подцензурно-новомировский лад, кто-то — о романе «В круге первом», кто-то — о повести «Раковый корпус». Но и только. Дальше идти нам ни в коем случае нельзя. Заминировано. Давно ведь уже объявлено и всем известно: не только сказать что-нибудь хорошее о «Красном Колесе», но даже и *читать* его не следует. Нас упорно и настойчиво предупреждают: ни в коем случае не читайте это произведение! Оно страшно длинное, очень скучное (а зачем же тогда так настойчиво предупреждать?), совсем-совсем малохудожественное, а главное — архи-реакционное!³

Впрочем, даже и говоря об «Одном дне Ивана Денисовича» и «Матренином дворе», надо не забыть «главное»: какое впечатление они произвели на совет-



Зек Солженицын на строительстве дома у Калужской заставы. Москва, июнь 1946

скую общественность когда-то, в 60-е, ну а потом — лучше вскользь — как этот писатель нас (таких прогрессивных сторонников «очищенного» ленинизма, или традиций революционной «демократии», или социализма с человеческим лицом, или даже конвергенции социализма и капитализма и т.п.) потом разочаровал...

Однако тут дело не только в политике. Очень часто ранние произведения больших писателей оказываются ближе и понятнее для современников, чем последующие. Так, А.С.Пушкина долгое время считали автором «Руслана и Людмилы» и южных романтических поэм, а Н.В.Гоголя — автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», да и к тому же преимущественно юмористом. И отнюдь не случайно В.В.Набоков не без язвительности замечал: «Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь «юморист», я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе»⁴. А Ф.М.Достоевского революционно-«демократическая» критика в течение очень длительного времени считала лишь автором одобренного В.Г.Белинским романа «Бедные люди».

Всякий по-настоящему большой художник является носителем принципиально нового мировосприятия, но глубоко вникнуть в него современникам часто трудно, почти невозможно. И тогда от писателя стараются отделаться: как когда-то от позднего Пуш-

кина, Гоголя, Достоевского, так и теперь от Солженицына. А чтоб отделаться, лучше всего заключить писателя в своего рода гетто из двух его «художественно наиболее совершенных» рассказов (а можно выбрать даже и один — «Матрёнин двор»). И потом остается только принять на веру версию В.Н.Войновича, автора знаменитого романа «Москва 2042». Герой этого сочинения, Сим Симиыч Карнавалов, и на Солженицына страшно похож (соли не ест, «глыбы» сочиняет, слова, похожие на солженицынские, употребляет, да все не к месту), а в то же время и архаист, и монархист, и лицемер — ну, словом, все, как надо. Можно, казалось бы, и успокоиться. Но нет — мешает нам Солженицын. Все время невольно возвращаешься к нему и думаешь: что же это за фигура такая и почему, даже и отвергнув его, подсознательно ощущаешь величие этого странного человека.

Он — иной. Он не такой, как мы. Это и раздражает и притягивает.

Совершенно очевидно: Солженицын не хочет увлекаться тем, чем увлечены мы. Ну а мы-то с вами — люди передовые. Следовательно, он отсталый архаист!

Вот и покойный В.Е.Максимов утверждал еще в 1991 году: даже и «Один день Ивана Денисовича» — произведение «крайне стилизованное», поскольку А.И.Солженицын якобы стремится «конструировать почти всю словесную ткань своих книг из вымерших архаизмов и неподъемных словосочетаний». Вместо этого глубоко современный писатель предложил «освободиться от советского «новояза» <...> по «Сказке о царе Салтане» или по меньшей мере по чеховской «Каштанке»⁵. Ирония ситуации, однако, в том, что именно такое восприятие солженицынских текстов и оказывается подлинно архаистским. Не случайно Л.В.Лосев подчеркивал, что «Солженицын сугубый новатор, которого упорно пытаются читать как архаиста»⁶. И в сфере художественной формы писатель ориентируется не столько на использование достижений литературы XIX века (к чему так настойчиво призывал его Максимов), сколько на опыт модернистской прозы Е.И.Замятина, М.И.Цветаевой и Д.Дос Пассоса (как известно, об этом неоднократно говорил и сам Солженицын)⁷.

Что же касается лексики, то, как показывает глубокое и обстоятельное исследование В.В.Карпович, лишь 40 % «необычных» слов, используемых писателем, заимствованы им из словаря В.И.Даля, а все остальные являются авторскими новообразованиями⁸. При этом Карпович подчеркивает, что почти все «необычные» слова употреблены в текстах Солженицына «по одному разу, что указывает на их экспериментальный характер — автор их не навязывает»⁹.

В то же время использование Солженицыным непривычных сочетаний *известных читателю* приставок, корней, суффиксов и окончаний приводит к тому, что смысл почти каждого «необычного» слова оказывается понятен без объяснений (в редких исключениях помогает контекст), причем писатель менее всего

стремится «поразить» нас какой-либо словарной экзотикой или архаичностью речи. Не случайно, что даже слова, заимствованные у Даля (формально говоря — архаизмы), Солженицын использует (на функциональном уровне) как неологизмы. Они нужны, за редчайшим исключением, не для создания некоего «аромата старины», но, напротив, для расширения выразительных возможностей и смыслового обогащения *современной* литературной речи, для разрушения стилистических штампов и поиска новых красок и смыслов. Писатель смело ломает сковывающие рамки привычной языковой «нормы», но солженицынское новаторство, при всей его необычности, остается в русле многовековой русской языковой традиции¹⁰. Это очень характерно для Солженицына: сочетание глубочайшей укорененности в национальной «почве» и в то же время — дерзкое новаторство. Но вместе с тем оно никогда не является для него самоцелью, а всегда лишь средством для решения новой, неожиданной, небывалой художественной задачи¹¹. Без ясного понимания этого невозможно воспринять творчество Солженицына хоть сколько-нибудь адекватно. А воспринять его нам все равно придется. Мы с абсолютной неминуемостью рано или поздно просто обречены на это. И потому ничего не остается, как только медленно вглядываться в эту странную, отгалкивающую своей непонятностью фигуру, пытаясь хотя бы отчасти проникнуть в ее тайну.

А реальный Солженицын совсем не похож на наши представления о нем. И то, что иногда со стороны кажется позой, чудачеством, для него так же естественно, как дыхание. Просто он всю свою жизнь подчинил одной-единственной цели — творчеству, понятому как служение Богу. (Когда в 1954 году, умирая от рака, он начал писать и вдруг болезнь отступила, Солженицын внезапно осознал, что будет жив, только пока пишет...) Ну *такое* нам уже и вовсе непонятно: как это — служить не своему любимому «я» и не своему же корпоративному «мы», а трансцендентному «Ты»? Нам непонятно, и мы стараемся переосмыслить ситуацию, представить дело так, как будто не Богу он служит, а себе — себя хочет возвеличить. И цитата вроде бы подходящая отыскалась. В книге «Бодался телёнок с дубом» писатель говорит о своем служении: «То и веселит меня, то и утверждает, что не я всё задумываю и провожу, что я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять.

О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпадет из руки Твоей!»¹²

В этом мы поспешили увидеть самозваное мессианство, даже манию величия, и не заметили только одного: именно здесь Солженицын говорит о своей малости и подчиненности Высшей Воле. Ведь тот же самый меч, выпав из Божьей длани, мгновенно теряет силу. Сам по себе, без помощи свыше, он ничто. Вместе с тем в Нобелевской лекции Солженицына говорится об особом типе художника, который «мнит



Матрёна Васильевна Захарова.
Деревня Мильцево. 1956

себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы»¹³. Солженицын здесь резко отвергает не только эгоцентрический тип художника, но и антропоцентризм (эгоцентризм, расширившийся до пределов общечеловеческого «мы»), противопоставляя ему иное, теоцентрическое мировидение. Поэтому принципиально иначе оценивается писателем и роль подлинного художника, который «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога»¹⁴⁻¹⁵, потому что истинный Мастер — Сам Творец, а человек лишь может попытаться исполнить волю Того, Кто его направляет. Отсюда — исключительная гармоничность духовного мира Солженицына. Он отказывается от роли демиурга, творца своего собственного, автономного мира, подчиненного лишь единой направляющей воле художника. Писатель, по Солженицыну, должен осознавать, что «не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений с его основах», а значит, груз непосильной для человека ответственности слагается с его плеч и ему легче «ощутить гармонию мира»¹⁶. Отсюда и стремление Солженицына к почти



Учитель А.И. Солженицын в деревне Мильцево.
Осень 1956

точному художественному воссозданию подлинной жизненной реальности. Если подлинный Мастер — лишь Сам Бог, бессмысленно пытаться создать что-то лучшее по сравнению с тем, что создал Он. Казалось бы, такое принципиальное самоограничение в сфере вымысла должно было приблизить Солженицына к эстетике натурализма, однако этого не происходит. Художественный мир Солженицына «вертикален», а следовательно, радикально отличается от сугубо «горизонтального», позитивистского мира писателей-натуралистов. Солженицын воспринимает этот мир вещей не как единственно существующий, но как лишь одну из частей многообразной и многоликой жизненной реальности, в которой присутствует не только физическое начало, но и метафизическое (сверхфизическое). И воспринимая бытие принципиально шире и глубже, чем это доступно для позитивистского сознания, он открывает нам радикально иное восприятие жизни, где каждый человек, независимо от того, сознает он или нет, постоянно находится в ситуации «вертикального» выбора между Богом и дьяволом, по собственной воле увеличивая или уменьшая в своей душе долю добра или долю зла¹⁷. По Солженицыну, даже безбожник иногда ощущает на себе действие сил, не укладывающихся в прокрустово ложе материалистической картины мира. Но это ощутимее для него не в обычной ситуации, а лишь во время тя-

желой болезни, когда такой человек оказывается на грани жизни и смерти, бытия и инобытия. И здесь проявляется определенное сходство между трактовкой такого рода явлений у Достоевского и у Солженицына. В романе «Преступление и наказание» Свидригайлов при первой встрече с Раскольниковым рассказывает ему о своем понимании метафизических феноменов — привидений и т.п.: « — Ведь обыкновенно как говорят? <...>: «Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред». А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет, самих по себе». По мнению Свидригайлова, «привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек <...>. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир»¹⁸. Эту теорию Свидригайлова принимал и сам Достоевский (достаточно вспомнить кошмар Ивана Федоровича из романа «Братья Карамазовы», когда тому является черт, а затем выясняется, что Иван заболел белой горячкой). Очевидно, принимает такую интерпретацию метафизических феноменов и Солженицын.

Так, в четвертом томе «Красного Колеса» описывается, как Ленин, находясь из-за тяжелейшего приступа в полубредовом состоянии, пытается читать письмо от Парвуса. Затем сама собой зажигается керосиновая лампа и горит — пустая, без керосина. А стоящий в комнате баул помощника Парвуса, Скларца, постепенно растет, раздувается: он уже «с большую свинью», и ручка на нем — перекидывается «с одной стороны на другую — хляп!» Баул распирает изнутри, и из него поднимается «в рост, во всю тушу», Парвус: «Стоял — натуральный, во плоти <...> — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно». Парвус предлагает Ленину обильную материальную помощь от германского правительства для организации революции в России и захвата власти. Но чудеса для тяжело больного Ленина на этом не кончились. Он ощущал: его кровать «плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим разрешения от них двоих <...> — неслась по темному кругу, опять. <...>

Он (Парвус. — П.С.) — презирал мир. Тамошний, далеко внизу, под кроватью»¹⁹.

Крупнейший современный исследователь творчества Солженицына Жорж Нива весьма убедительно пишет о том, что эта сцена генетически связана с одним из эпизодов Евангелия, в котором дьявол, искушая Христа в пустыне, показывает ему «все царства вселенной во мгновение времени» и, предложив их Иисусу, требует лишь одного — поклонения себе (см.: Мф. 4: 8-10; Лк. 4: 5-8)²⁰.

В то же время, по словам Нива, «за спиной Ленина стоит вдвойне дьявольская фигура — еврейско-рус-

ско-немецкий социалист Парвус <...>, преуспевающий делец, из которого Солженицын делает тайного сатанинского подстрекателя двух русских революций»²¹, однако роль Парвуса в этих событиях трактуется Солженицыным в соответствии с результатами авторитетного исторического исследования З.Земана и В.Шарлау²², которое историк М.Я.Геллер назвал «отличной биографией» этого «гениального революционера-заговорщика»²³.

Вместе с тем, подчеркивает Нива, «многие комментаторы отметили странность этой сцены (между Лениным и Парвусом. — П.С.), где на первый план выведен безродный еврей, алчный и чудовищный»²⁴. По мнению французского исследователя, «конечно, не случайно, что он (Парвус. — П.С.) еврей на все сто процентов (Ленин — только на четверть...»)²⁵. В то же время сам Нива, говоря о Солженицыне, замечает: «Его вторая жена (Н.Д.Солженицына. — П.С.) — еврейка по матери <...>»²⁶. Какой же смысл имеют в таком случае обвинения писателя в расизме и подсчеты процентов «еврейской крови» у его персонажей? Ошибочность такого понимания солженицынского текста очевидна. Не случайно автор «Красного Колеса» подчеркивал, что антисемитизм, то есть «пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом», вообще невозможен в подлинно художественном произведении, которое «даёт объёмность, реальность, и никогда не делает пустых обобщений, иначе оно не будет художественным»²⁷.

Израильская публицистка Д.М.Штурман, автор самого серьезного на сегодняшний день исследования солженицынской публицистики, замечает: «Солженицын не антисемит, но и не семитофил. Его Вортынец в «Красном Колесе» говорит, что не считает возможным относиться к евреям плохо только потому, что они евреи, или хорошо — только по той же причине: отношение к человеку должно зависеть от его, этого человека, действительных качеств. Это позиция и самого Солженицына, бесспорная в совокупности им написанного. И меня такое отношение удовлетворяет — в отличие от семитофилии, столь же беспочвенной и унижительной, сколь и антисемитизм»²⁸, — добавляет исследовательница.

Однако вместе с тем и демонизм Парвуса, явившегося Ленину, также несомненен и требует объяснений. Вообще, здесь слишком много странностей.

Ленин пытается осмыслить происходящее: «Все было — точно, как в прошлый раз, или это и было — прошлый раз?.. — в комнате бернской мешанки? или в комнате цюрихского сапожника? или — ни в какой комнате? Как будто все это говорилось уже раз, и вот по второму».

Очевидно, что, по Солженицыну, реальная встреча Ленина и Парвуса имела место в Берне, в 1915 году, за год до описываемых событий, происходящих в октябре 1916 года в Цюрихе.

Что же и кого же в таком случае видит Ленин? Парвуса? Казалось бы, да, но этот так таинственно возникший человек полностью или частично повторяет уже сказанное им год назад... К тому же все эти стран-

но-инфернальные черты его образа указывают скорее на... Да вообще — человек ли это?!

В 47-50-й главах четвертого тома «Красного Колеса» проявляются черты старинного средневекового жанра видения. В русской литературе к этому жанру обращались и А.С.Пушкин («Бесы»), и Н.В.Гоголь («Пропавшая грамота»), и А.А.Блок («Предвечернюю порою...»), и Н.С.Гумилев («Заблудившийся трамвай»²⁹), и Ф.Сологуб («Рождественский мальчик»), и другие писатели. В видении обязательно присутствует визионер, которому открывается иная, запредельная, метафизическая жизненная реальность, человеку обычно недоступная. Визионером против своей воли оказывается и Ленин, но искушает его отнюдь не еврей Парвус, а принявший его облик диавол, существо, как известно, интернациональное. Отсюда — демонизм облика и поведения этого лже-Парвуса. Парвус — лишь образ-маска, тот, кого на самом деле рядом с Лениным попросту нет.

Зато есть *другой*. И именно он «навязывает, вкачивает» в Ленина «свою бегемотскую кровь». Конечно же, здесь речь идет отнюдь не о «вкачивании» «еврейской крови» в тело Владимира Ильича, но именно «бегемотской крови». Крупный, массивный Парвус сравнивается, в частности, и с бегемотом. Но Бегемот, как известно, — одно из имен диавола (не случайно это имя использовано в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», и, возможно, именно оттуда оно и попало в поле зрения автора «Красного Колеса», который, как подчеркивает Н.Д.Солженицына, ощущает М.А.Булгакова своим «братом»³⁰).

Вступая в общение с инфернальным псевдо-Парвусом, Ленин оказывается перед тем же выбором, перед которым оказался в пустыне Иисус. Солженицын замечает: «Почти в самом начале евангельской истории Христу предлагаются одно за другим искушения, и Он одно за другим отвергает их. Человечество не может сделать это так быстро и решительно, но Божий замысел, мне кажется, в том, что через многовековое развитие мы сумеем начать сами отказываться от соблазнов»³¹.

Солженицынский Ленин, этот новый Фауст, один из представителей человечества XX века, находится в ситуации рокового выбора, но, как справедливо отмечает Нива, «из малодушия, из ослабленности подпольщика, боящегося снять маску <...>, отказывается наполовину от предложения Искусителя»³². Разумеется, Солженицын здесь в большой степени использует возможности художественного вымысла. Вместе с тем из текста «Красного Колеса» не вполне ясно, что говорил Ленину Парвус во время их встречи в 1915 году в Берне. Может быть, то же, что и его демонический двойник, а может быть, и не совсем, поскольку все происходящее мы воспринимаем сквозь искажающую призму болезненного ленинского сознания. Видимо, стремясь к максимальной исторической точности³³, Солженицын специально избегает излишней конкретизации того, о чем история умалчивает. Ему важнее показать скрытые метафизические истоки революции, которая, по словам писателя, «приоткрывает нам <...> и такие глубины бытия, ко-

торые сомнительно назвать просто физическими. И которые донныне усложняются лишь немногими»³⁴. По-модернистски деформированный художественный мир этих глав — это мир не только дьявольских искушений, но и inferнальной игры. В финале разговора Ленина и Парвуса тот, потеряв четкие очертания, «уже больше как облако синеватое», медленно перетекает в окно: «Утянуло всё дымом, не оставив осадком ни Скларца, ни баула. И шляпа опоздавшая сорвалась со стола — и швырнулась вослед». Причем все это удивительно для нас, но не для Ленина. Чуждую необычайность происходящего он если и замечает, то вскользь, не придавая ей значения. Но для читателя болезненное состояние визионера лишь выявляет потаенный, сокрытый демонизм его духовного мира, в обычном, здоровом состоянии заслоняемый земными впечатлениями и ощущениями. В таком понимании Ленина к А.И.Солженицыну близок и С.С.Аверинцев: «Нет, не голос неверующего слышим мы у Ленина: это типичный тон рассерженного ханжи, неподдельная интонация святоши ада»³⁵, — считает ученый.

Подобно Солженицыну, он видит в Ленине не атеиста (человека, безразлично относящегося к религии и не верящего в Бога), но именно антитеиста, воинствующего богоборца, вольно или невольно типологически близкого к сатанизму. Но, по Солженицыну, в обычной жизни это явно не проявляется, inferнальные бездны его души скрыты, и только приступ тяжелой болезни приоткрывает нам подлинную духовную суть происходящего.

Цель Ленина в России — свержение монархии, революция, уничтожение «буржуазных» свобод и в конечном счете установление тоталитаризма, который Владимир Ильич называет «демократией». Откуда взялась эта подмена? Здесь проявилось влияние мощной традиции российского революционно-«демократического» движения, которое, уповая главным образом на радостно ожидаемую крестьянскую революцию, на то, что «только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора»³⁶, считало себя в то же время «демократическим». Но на каком основании? Разве оно, стремясь навязать населению России «светлое будущее» в том виде, как это движение его понимало, выполняло волю народа? Ничего подобного! Население России в те времена более чем на 80% состояло из крестьян, настроенных однозначно монархически. Это может нравиться или не нравиться — относиться к тогдашнему строю можно по-разному, но факт остается фактом: монархия в России вплоть до момента отречения Николая II была в каком-то смысле демократичной, поддерживаемой подавляющим большинством населения страны. Республиканско-демократическая форма правления основной массой народа в то время отвергалась. Но революционных «демократов» такое положение дел не устраивало: они хотели во что бы то ни стало навязать России свои, в тогдашней ситуации, несомненно, утопические планы преобразования действительности. Не удивительно, что некоторые из этих планов оказались ярко выраженными тоталитарными: сам принцип навязывания населе-

нию страны того, чего оно в настоящее время не хочет, глубочайшим образом антидемократичен. Парадокс исторического периода со второй половины XIX века и до 1917 года состоит в том, что все без исключения российское революционно-«демократическое» движение было по сути глубоко антидемократично, а ненавидимая ими «недемократическая» монархия, опиравшаяся на поддержку большинства населения, для тогдашней крестьянской России была самой демократичной формой правления. (Это осознавал уже Пушкин, сделавший основой сюжета «Бориса Годунова» мотив общенародного признания легитимности власти царя.) Солженицын это понял в процессе работы над «Красным Колесом», как понял и то, что революция в России была одна — Февральская. Ни попытку вооруженного восстания в 1905 году, ни Октябрьский переворот 1917 года революциями, по словам писателя, назвать нельзя³⁷. А февральские события осмысливаются им довольно-таки неожиданно — как революция сверху...³⁸

2 марта 1917 года (по старому стилю) группа думцев во главе с А.И.Гучковым добивается у Николая II отречения от престола. Император отрекся и за себя, и за сына. На следующий день отрывается и брат царя, Михаил Александрович. Оба могли этого не делать. Николая II убедили в том, что его отречение в пользу брата избавит Петроград, в котором взбунтовались запасные батальоны, от кровопролития, а Михаила — в том, что отрекшись от престола, он якобы исполнит волю народа (а на самом деле — волю прореволюционно настроенной интеллигенции). И оба (абсолютно безответственно и бездумно) согласились. В результате в течение буквально нескольких дней Россия погружается в пучину почти тотальной анархии. Исчезновение Удерживающего (вне зависимости от его индивидуальных качеств) оказывается губительным для тогдашнего российского социума. Солдаты перестают подчиняться кому бы то ни было. Грабежи и убийства постепенно становятся обычной повседневной и повсеместной реальностью. И только тогда возникают благоприятные условия для Октябрьского переворота, который оказывается не новой революцией, а лишь естественным продолжением февральских событий.

Такова (в самых общих чертах) солженицынская концепция истории России этого периода. Она подтверждается не только многочисленными историческими документами и материалами, использованными писателем в его эпопее «Красное Колесо» (Солженицын описывает события Февральской революции буквально по часам, а иногда и по минутам: такого подробного воссоздания этого события нет на сегодняшний день ни в одном историческом труде), но и изысканиями немецкого историка, который, как свидетельствует С. П. Залыгин, в течение шести лет пытался найти ошибки в этом произведении и не нашел ни одной³⁹. Показательно в этом отношении и свидетельство И.А.Булгина. В его сценке «Брань» (авторская датировка — лето 1917 года) изображены два крестьянина, богатый и бедный. Они яростно спорят, очень недовольны друг

другом, но в одном сходятся: «Наша держава все равно пропала!», потому что «прежде великому Богу присягали и великому Государю, а теперь кому? Ваньке?»⁴⁰ Этот Ванька, воплощающий тот образ Временного правительства, который сложился в простонародном крестьянском сознании, несомненно, самозванец и в то же время дурак: «У него в голове мухи кипят». Республиканское правление воспринимается русским крестьянством как неподлинное, не имеющее права на существование. Плохо это или хорошо, но таково «мнение народное», с которым необходимо было считаться не только Годунову и Самозванцу, но и никем не избранному Временному правительству.

При этом, описывая революционные события в России, Солженицын не идеализирует и простой народ. В нем немало дикого и жестокого, но вместе с тем есть и та простота, естественность и сердечность, которые во многом искупают его отрицательные качества. Однако ситуация почти тотальной анархии ввергает страну во власть бессмысленной и беспощадной народной стихии. И неудивительно, что необразованное крестьянство — а за ним и вся страна — вскоре становятся жертвами ловкой демагогии большевиков.

Можно ли Солженицына называть монархистом, как это делают некоторые? В его оценке дореволюционной ситуации — отчасти да. Но это отнюдь не тот подлинный, догматический монархизм, который предполагает безоговорочное предпочтение этой формы правления любой другой⁴¹. «Монархизм» Солженицына (если в данном случае вообще правомерно употребление этого термина) можно назвать ситуативным и в основе своей, как ни странно это звучит, — демократическим. Писатель предпочитает не мнимо «идеальную» абстракцию (демократию вообще, монархию вообще), но ту форму правления, которая является лучшей *в данное время и в данном месте*. Солженицын призывает не к поклонению идеализированным схемам, а к трезвой и непредвзятой оценке конкретной исторической ситуации. И если для дореволюционной России самой демократичной формой правления, по Солженицыну, была монархия, то, говоря о нашем времени, писатель однозначно высказывается за демократию⁴², категорически отрицая саму идею восстановления российской монархии (опять-таки на том основании, что в современном обществе этот строй не может быть подлинно демократичным). Такая по своему очень последовательная и в то же время принципиально адогматическая точка зрения вызвала и вызывает раздражение среди представителей разных идеологических направлений. Так, с точки зрения догматиков-демократов, республиканское правление абсолютно всегда и во всех случаях лучше для *любого* государства в *любую* эпоху, а если эта форма власти оказывается для данной конкретной страны губительной, тем хуже для этой «рабской» страны. Не меньшее недовольство высказывают и догматики-монархисты. По их мнению, Солженицын, резко отрицающий саму идею восстановления



А. И. Солженицын перед публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире». Ноябрь 1962

монархии в современной России, по сути, вообще не монархист (впрочем, последнее верно).

Писатель не случайно подчеркивал, что в области художественной формы он не стремится ни к обязательному поиску «чего-либо» нового, ни к столь же обязательному «традиционалистскому» отказу от этого: «<...> я только каждый раз думаю, как эту задачу решить лучше всего, как наиболее рельефно подать читателю этот материал»⁴³. Точно так же, последовательно адогматически Солженицын подходит и к проблеме соотношения прошлого, настоящего и будущего. Многочисленные идейные противники писателя неоднократно приписывали ему стремление повернуть время вспять, «вернуться» то ли в дореволюционную эпоху, то ли вообще в XVI век⁴⁴, однако Солженицын никогда не призывал ни к чему подобному. Наоборот, изучая историю и стремясь побудить к этому других, он предостерегает как от легкомысленного забвения опыта прошлого (тогда мы будем обречены повторить все

ошибки наших предшественников), так и от анти-исторических попыток реставрации какой-либо полюбившейся нам эпохи: «<...> ничто в России не может вернуться к дореволюционному бытию»⁴⁵, — подчеркивает писатель. Вместе с тем здоровое и естественное движение вперед невозможно, по Солженицыну, без опоры на лучшее в национальной традиции каждого народа, каждой страны. Иначе говоря, новое обязательно должно содержать в себе и преобразованные элементы старого. Таким образом, писатель не соглашается ни с догматизмом радикалов-новаторов, ни с противоположно направленным догматизмом ретроградов.

Адогматизм присущ не только политическому мышлению писателя, но и всему его мировосприятию. Причем адогматично оно не из-за внутреннего убеждения Солженицына в обязательной необходимости именно такого подхода к действительности, но по одной-единственной и очень простой причине. Дело в том, что писатель видит истину в самом бытии, а не в каком-либо человеческом мнении о нем. Даже и собственное мнение Солженицына ни в коем случае не может в его глазах претендовать на полную и окончательную истинность. Не случайно писатель как раз поэтому не любит публицистику: «<...> политическая публицистика отличается от художественного произведения тем, что автор <...> должен принять, выбрать определённую точку зрения <...> и его изложение <...> становится однолинейным. А художественное произведение даёт всегда объёмное представление, даёт не только три измерения, но десятки направлений»⁴⁶. Публицистикой, говорит Солженицын, «я <...> занимаюсь поневоле. <...> в моей публицистике и в моих интервью я не могу выразить и одной сотой части того, что есть в моих книгах»⁴⁷.

Иначе говоря, характерное для публицистики прямое и однозначное выражение авторской точки зрения не может адекватно отобразить всю полноту и сложность бытия. Солженицыну обязательно нужны *иные точки зрения*, иные восприятия действительности, резко отличающиеся от его собственного. Не удивительно поэтому, что писатель в своих крупных эпических произведениях, в частности, в эпопее «Красное Колесо», обращается к полифонической композиции, воссоздающей kaleidosкопическую многомерность изображаемого.

Солженицынскую полифонию можно назвать *полифонией индивидуальных восприятий*. В ее основе — своего рода деконструкция единого образа автора. Обычно в художественном тексте образ автора един и не меняется в процессе повествования, хотя в разных произведениях одного и того же писателя он может быть различен⁴⁸.

Уже в «Одном дне Ивана Денисовича» А.И.Солженицын, во многом развивая традицию А.П.Чехова, максимально сближает образ автора и главного героя, описывая Шухова извне, но с его же точки зрения⁴⁹. Образ автора, относящийся к сфере изображаемого,

созданного⁵⁰, при этом резко отдалается от реального автора (самого Солженицына) и становится рупором точки зрения персонажа, его сознания, его индивидуального мировосприятия.

И затем этот же прием использован Солженицыным в «Красном Колесе», но здесь единый образ автора отсутствует, распадается на множество независимых друг от друга образов, выражающих точки зрения различных персонажей эпопеи⁵¹. В то же время единый образ автора подвергается своего рода деконструкции, которая, однако, далеко не тождественна постмодернистской деконструкции. К тому же Солженицын весьма далек как от концепции «смерти автора», так и от тотального релятивистского обесмысливания бытия, характерного для постмодернизма. Не случайна и резкая критика последнего⁵². Однако при глубочайшем различии между автором «Красного Колеса» и постмодернистами очевидна и их некоторая типологическая близость в сфере поэтики. Деконструкция единого образа автора, частое использование монтажного стыка, коллажа и ряд других приемов, конечно, не превращают Солженицына в «постмодерниста», но еще раз демонстрируют, что в конце XX века некоторые идеи носятся в воздухе, и вместе с тем окончательно развевают легенду о писателе-«архаисте» (это с таким-то арсеналом художественных средств?!).

Солженицын подчеркивает: «У меня нет главного героя. <...> для меня главный герой тот, кому посвящена данная глава, и я должен строить всю главу полностью на его психологии, и стараюсь передать его правоту. Больше того, я свой язык — не прямую речь, а свой авторский язык — строю так, чтобы он был верным фоном именно к этому герою, именно в этой главе. <...> у меня столько точек зрения в романе, сколько героев»⁵³. Таким образом, индивидуальные миры персонажей осмысливаются как «авторские», приобретаая на страницах «Красного Колеса» равноправие с голосом самого Солженицына, причем решение вопроса о степени истинности или неистинности того или иного личного мнения или восприятия предоставлено читателю, в глазах которого мнение, номинально исходящее от самого Солженицына, может быть оспорено, и весьма убедительно, персонажем. Так, Л.В.Лосев подчеркивает: «Автор (его голос звучит главным образом во вставных, историко-публицистических главах «Красного Колеса». — П.С.) <...> не обладает в глазах читателя авторитетом большим, чем, скажем, другой персонаж — Варсонофьев»⁵⁴. Художественный мир «Красного Колеса» глубоко плюралистичен: потенциальным правом на обладание истиной здесь наделены все. Но вместе с тем это не приводит к релятивизации истины, поскольку, как уже говорилось выше, истина, по Солженицыну, находится в самом бытии, а не в каком-либо человеческом мнении о нем. «А истина, а правда во всем мировом течении одна Божья», — подчеркивает писатель. Поэтому и «многообразие мнений» имеет смысл, только если это помогает «приближаться» к ней⁵⁵. Более того, для Солженицына, как для христиани-

на, очевидно: Высшая Истина — это Сам Бог, поэтому неслучайно и Его незримое присутствие на страницах эпопеи⁵⁶.

Человеку доступно обладание лишь маленькими крупинками истины, ее осколками. Однако и эти осколки бесценны, и искать их следует везде и у каждого, не ограничивая себя ни предвзятыми установками, ни заранее определенными рамками. Так Солженицын и поступает, и сложнейшая полифоническая художественная система «Красного Колеса» демонстрирует возможность подлинного плюрализма, являющегося для писателя не самоцелью, а лишь средством познания, приближающим нас, если мы этого захотим, к истине, то есть в какой-то мере и к Богу.

«Но разве сам Солженицын — плюралист? — возразят некоторые. — Ведь давно известно, что в статье «Наши плюралисты» он резко критикует как раз тех, кто выступает за плюрализм!»

Когда речь идет об этом писателе, кажется, нет конца недоразумениям и легендам. Статья «Наши плюралисты» (1982) посвящена отнюдь не вопросу о плюрализме, а лишь тем людям, которые, называя себя плюралистами, грубо искажают русскую историю с позиций воинствующего западничества, изображая Россию страной мерзких, гнусных и опасных для всего цивилизованного человечества рабов. Причем именно такая интерпретация осмысливалась «нашими плюралистами» как *единственно верная*. Солженицын писал об этом: «<...> наши «плюралисты» сперва хотят обстрогать всех в эту единую колодку (так это уже — монизм?) — а внутри неё разрешить — мыслящим личностям? — «плюрализм»⁵⁷. Вместе с тем писатель подчеркивает: «Во всей статье я не имею ничего против плюрализма как такового»⁵⁸. Это произведение, по словам Солженицына, направлено против «наших плюралистов»⁵⁹, в сущности воинствующих монистов, прикрывающихся модным термином. Поэтому абсолютно права Дора Штурман, считающая, что слово «плюралисты» используется в этой статье лишь в сугубо ироническом осмыслении, позволяющем «все время слышать вокруг этого определения не поставленные автором кавычки»⁶⁰. Солженицын убежден: «<...> если плюрализм — то уж для всех, и никаких границ; иначе надо искать другое слово»⁶¹. Вместе с тем «на Западе, — замечает писатель, — есть такая уверенность, что западные ценности есть общечеловеческие ценности. На самом деле, в мире существует интегральный плюрализм, он включает плюрализм многих миров. Среди таких миров можно назвать Россию, Китай, Индию, Японию, мусульманский мир, Африку, Латинскую Америку, и ещё не все. Так вот, у каждого этого мира есть своя традиция, свой многовековой уклад, своя система мироощущения и взглядов, и надо с уважением признавать этот интегральный плюрализм»⁶². В сущности, в этом вопросе Солженицыну близки идеи мультикультурализма.

Что же касается России, то для нее, по Солженицыну, важно не слепо и бездумно «перенять всё с

Запада», но «правильно синтезировать западный опыт со своим национальным»⁶³. Писателю однако чужды крайности как воинствующего западничества, так и фундаменталистского антизападного изоляционизма. Показательно и то, что, говоря о желательности возрождения традиций земства, существовавшего в России «много веков», Солженицын опирается, в частности, и на опыт Швейцарии⁶⁴, а также США, где, по его словам, «80-85% всех вопросов решаются на месте местными людьми, местным самоуправлением, не ожидая никаких указаний из Вашингтона»⁶⁵. В мировоззрении писателя естественно и неантагонистически сочетаются глубочайший патриотизм (при резком отвержении любых форм шовинизма и национальной гордыни) и... космополитизм.

Солженицын — космополит? Звучит странно, однако это именно так. Будучи противником интернационализма, осознаваемого как пребывание *между*⁶⁶ нациями, вне их, как безнациональное бытие⁶⁷, писатель является безусловным сторонником космополитизма, который, в его понимании, «объединяет, впитывает в себя все национальные культуры»⁶⁸.

Очевидно, что солженицынская интерпретация терминов «интернационализм» и «космополитизм» резко отличается от позднесоветской; в то же время писатель здесь весьма близок к выдающемуся русскому философу И.А. Ильину, который писал: «*Интернационализм* отрицает родину и национальную культуру <...>. Интернационалист, будучи духовно *никем*, желает сразу сделаться «всечеловеком»; и это не удастся ему, ибо всечеловечество есть *духовное* состояние, которое может быть доступно только духовно и национально самоутвердившемуся человеку»⁶⁹. Философ подчеркивал: «<...> только тот может нелицемерно говорить о «братстве народов», кто сумел найти *свою* родину, усвоить ее дух и слить с нею свою судьбу»⁷⁰. При этом, по словам Ильина, «совершенно неверным» будет мнение о том, что ««гражданин вселенной» не может быть *патриотом*»; наоборот, «основа нормального правосознания делает человека <...> «гражданином вселенной»»⁷¹. Но «гражданин вселенной» это и есть космополит.

Отчасти следуя за Ильиным, Солженицын отождествляет понятие «космополит» с введенным Достоевским понятием «всечеловек», подчеркивая, что с равным уважением следует относиться не только к различным культурам Европы, но и «к индийской, китайской, японской, русской, каких-нибудь маленьких северных народов заполярных и каких-нибудь Полинезийских островов. <...> если мы с уважением отнесёмся к ним ко всем, это и будет космополитизм»⁷². Очевидно, что космополитизм в таком осмыслении также весьма близок к мультикультурализму. И тогда снимается пушкинская опозиция «космополит — патриот» («Евгений Онегин») и оказывается, что космополитом можно и должно быть, оставаясь в то же время и патриотом. Солженицын гармонично и непротиворечиво «вкладывает» одно понятие в другое, и здесь мы подходим к одной из важнейших проблем романа

«В круге первом», герой которого, Иннокентий Володин, рисует на песке два круга, один в другом. Меньший круг — отечество; больший — человечество. И само название солженицынского романа в свете этого приобретает, помимо очевидного дантовско-ГУЛаговского, еще и иной смысл: в отечестве, в России⁷³. Проблема соотношения общего и частного — личности и общества, патриотизма и космополитизма — решается Солженицыным на путях добровольного самоограничения при необходимом сохранении равновесия целого. Именно поэтому писатель отвергает как индивидуализм⁷⁴, так и коллективизм. Последний, по словам Солженицына, противоречит национальным характерам всех народов Земли. «он противоположен вообще человечеству <...>»⁷⁵. Вместо этих двух крайностей, каждая из которых основана на отчуждении (в гегелевском смысле) между личностью и обществом, писатель предлагает принципиально иное решение.

Возьмем в качестве примера «общедоступные» произведения Солженицына. Его Матрёна, даже в условиях коллективистского равнодушия общества к каждой конкретной личности, продолжает самозабвенно, подвижнически служить другим, но при этом ее неповторимая человеческая индивидуальность нисколько не стирается. Матрёна ни в малейшей степени не становится обезличенной частью коллективного целого. То же можно сказать и об Иване Денисовиче, несмотря на все усилия лагерных властей превратить его в послушный «винтик» тоталитарной машины под номером «Ш-854» (такое первоначальное авторское название «Одного дня Ивана Денисовича»). Очевидно, что ни Матрёну, ни Шухова нельзя назвать коллективистами или индивидуалистами. Их жизнь, в которой просто и естественно сочетается личное и общественное, соотносена с тысячелетней сокровищницей народного опыта и именно потому наполнена такой глубиной (при наружной непритязательности) и такой сложностью (при внешней простоте).

Для Солженицына принципиально важно показать, что и интеллигенция, и крестьянство являются двумя важнейшими слоями общества. Эту мысль, несомненно разделяемую и самим писателем, высказывает в романе «В круге первом» Авенир, твердой дядюшка Иннокентия Володина. И объясняет — почему: «Крестьяне с землёй, с природой общаются, отсюда нравственное берут. Интеллигенты — с высшей работой мысли»⁷⁶. Не случайно, конечно, и «хождение» Глеба Нержина «в народ», приобщение человека интеллектуальной элиты к жизненному опыту простого дворника Спиридона. Не случайно, наконец, и то, что сам Солженицын, чьи родители были выходцами из крестьянских семей, естественно и непротиворечиво сочетает в своей человеческой и художнической индивидуальности черты как простонародно-крестьянские, так и интеллигентские. И в том не недостаток его, как полагают многие постсоветские снобы, а несомненное преимущество, сила и глубина.

Что же в итоге можно сказать сегодня о феномене Солженицына? Он бесконечно многообразен, неисчерпаемо глубок и, при внешней простоте, исключительно сложен. Так что разбираться, изучать — не хватит жизни и нескольких поколений исследователей.

Один из героев «Красного Колеса», философ Варсонофьев, размышляет о ходе истории, который, вопреки скоропалительным идеям и действиям политиков, «непостижим нашим умам»: «Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность только плёнка на времени»⁷⁷.

Нечто подобное представляет собой и феномен Солженицына. Легко доступна лишь внешняя сторона его творчества, провоцирующая поверхностно-сиюминутное восприятие. Совсем иное — на глубине. И только проникнув взглядом туда, можно постепенно осознать и подлинный масштаб этого явления, так что потом остается лишь удивляться: да как же мы, современники, могли не замечать всего этого богатства? Могли.

Пришло время серьезнейшей переоценки и переосмысления всего творческого наследия Солженицына. И если мы не сделаем этого сейчас — следующие поколения будут говорить о нас с презрением.

Примечания

¹ Все жанровые определения произведений А.И. Солженицына принадлежат их автору. Вопрос об использовании им тех или иных жанровых форм очень сложен и требует специального рассмотрения.

² См.: Новый мир. 1995. № 5, 10.

³ Для сравнения можно привести мнение Р.О. Якобсона, высказанное им в «Заметке об "Августе Четырнадцатого"», которая напечатана в этом номере журнала.

⁴ Набоков В.В. Николай Гоголь // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 52.

⁵ Максимов В.Е. Год Солженицына: Анкета «ЛГ» // Лит. газ. 1991. 20 марта. № 11. С. 10.

⁶ Лосев Л.В. Солженицынские евреи // Материалы конференции «А.И. Солженицын и его творчество». Париж: Нью-Йорк, 1988. С. 71.

⁷ См.: Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль, 1996. С. 434, 446-448.

⁸ См.: Карпович В.В. Исследование новообразований и далаевских слов у Солженицына // Грани. Frankfurt a / M., 1974. № 94. С. 249.

⁹ Там же. С. 248.

¹⁰ Подробнее см.: Спиваковский П.Е. Лексическое «расширение» в эпосе А.И. Солженицына «Красное Колесо» // Социальные и гуманитар. науки. Отеч. лит. Сер. 6. Языкознание / ИНИОН РАН. 1994. № 4. С. 54-64.

¹¹ См.: Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 222-224.

¹² Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки лит. жизни. М., 1996. С. 344. При цитировании текстов А.И. Солженицына сохранены все их орфографические и пунктуационные особенности. В частности, писатель настаивает на сохранении буквы «ё».

¹³ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. 1995. С. 7-8.

¹⁴ Там же. С. 8.

¹⁵ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. С. 8.

¹⁶ См.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг: Опыт худож. исследования. Т. 1. М., 1990. С. 124.

- ¹⁸ Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 5. М.: Наука, 1989. С. 271-272.
- ¹⁹ Солженицын А.И. Красное Колесо. М.: Воен. издат., 1993. Т. 4. С. 168. 171-172, 174.
- ²⁰ См.: Нива Ж. Солженицын. М., 1992. С. 163.
- ²¹ Там же. С. 162.
- ²² См.: Земан Э., Шарлау В. Парвус — купец революции. Нью-Йорк, 1991. Немецкое издание этой книги вышло в Кельне в 1964 г., а английское — в Лондоне в 1965.
- ²³ Геллер М.Я. Александр Солженицын: (К 70-летию со дня рождения). London, 1989. С. 84.
- ²⁴ Нива Ж. Солженицын. С. 163.
- ²⁵ Там же. С. 162.
- ²⁶ Там же. С. 46.
- ²⁷ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. 1997. С. 330.
- ²⁸ Штурман Д.М. Городу и миру: О публицистике А.И. Солженицына. Париж: Нью-Йорк, 1988. С. 414.
- ²⁹ См.: Спиваковский П.Е. «Индия Духа» и Машенька: «Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилева как символистско-акмеистическое видение // Вопр. лит. 1997. № 5. С. 39-54.
- ³⁰ Солженицын Н.Д. Писатель должен быть силой объединяющей, а не разъединяющей / Беседа с К.Кедровым // Известия. 1992. 23 июля. № 168. С. 3.
- ³¹ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 122.
- ³² Нива Ж. Солженицын. С. 163.
- ³³ Не случайно Дора Штурман отмечает: «<...> каждое существенное высказывание Ленина в Цюрихе строго документально. Мне удалось найти для них всех аналоги в переписке и сочинениях Ленина» (Штурман Д.М. Городу и миру. С. 414), а покойный историк Д.А. Волкогонов подчеркивал: «Огромное значение для понимания феномена Ленина имеют, как бы я их назвал, историко-художественные произведения Солженицына. Великий писатель смог, продолжая великую традицию Достоевского, заглянуть в подвалы сознания людей, "перевернувших Россию"» (Волкогонов Д.А. Ленин: Политический портрет: В 2 кн. Кн. 1. М., 1994. С. 23). Показательно и то, что волкогоновская трактовка исторической роли Ленина весьма близка к солженицынской.
- ³⁴ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. С. 537.
- ³⁵ Аверинцев С.С. Мы и наши иерархи — вчера и сегодня // Новая Европа. 1992. № 1. С. 42.
- ³⁶ Эти слова из герценовского «Колокола» (1860) Солженицын взял в качестве эпиграфа к первым восьми томам «Красного Колеса».
- ³⁷ См.: Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. С. 494-495; Т. 3. С. 321-322.
- ³⁸ Термин Н.Я. Эйдельмана.
- ³⁹ См.: Залыгин С.П., Золотуский И.П. «Природа единственная и не революционная» // Лит. газ. 1992. 28 окт. № 44. С. 5. Н.А. Струве, говоря о «Красном Колесе», также подчеркивал: «<...> ни на одной фактической ошибке Солженицына не поймали, сколько ни пробовали ловить <...>» (Струве Н.А. О «Марте Семнадцатого» // Вестник РХД. Париж, 1988. № 154. С. 142).
- ⁴⁰ Бунин И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М.: Моск. рабочий, 1995. С. 282.
- ⁴¹ Кстати, книга покойного П.Г. Паламарчука «Александр Солженицын: Путеводитель» (М., 1991) в общем и целом написана именно с таких, догматически-монархических позиций. Не удивительно, что ее автор выражает резкое несогласие с Солженицыным, когда заходит речь о роли в предреволюционных событиях императора Николая II, слабость и нерешительность которого писатель осуждает.
- ⁴² «<...> по всему потоку современности мы изберем несомненно демократию» (Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. С. 571).
- ⁴³ Там же. С. 325.
- ⁴⁴ См., напр.: Лерт Р.Б. Хотим ли мы вернуться в XVI век? // Лерт Р.Б. На том стою: Публицистика «симиздата». М., 1991. С. 32-54.
- ⁴⁵ Солженицын А.И. Россия в бвале. М., 1998. С. 184.
- ⁴⁶ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 285.
- ⁴⁷ Там же. С. 135-136.
- ⁴⁸ См.: Современное зарубежное литературоведение. Страны Европы и США: Концепции. Школы. Термины. М., 1996. С. 51-52.
- ⁴⁹ Подробнее см.: Винокур Т.Г. С новым годом, шестьдесят вторым... // Вопр. лит. 1991. № 11/12. С. 48-69.
- ⁵⁰ См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 405.
- ⁵¹ Полифоническая композиционная структура «Красного Колеса» исключительно сложна и, конечно, не может быть сколько-нибудь обстоятельно проанализирована в рамках этой статьи, поэтому здесь о ней говорится лишь тезисно и предельно упрощенно. Подробнее см.: Спиваковский П.Е. Полифония трансцендентальных миров: (Некоторые особенности художественной структуры эпопеи А.И. Солженицына «Красное Колесо») // Филол. науки. 1997. № 2. С. 34-46.
- ⁵² См.: Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 387-388.
- ⁵³ Там же. С. 286.
- ⁵⁴ Лосев Л.В. Великолепное будущее России: Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына // Континент. Мюнхен. 1984. № 42. С. 310. Кстати, Павел Иванович Варсонофьев — отнюдь не вымышленный персонаж: его очевидным прототипом является выдающийся русский философ, правовед и социолог Павел Иванович Новгородцев.
- ⁵⁵ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. С. 408.
- ⁵⁶ См.: Спиваковский П.Е. Символическое осмысление жизненной реальности в эпических произведениях А.И. Солженицына 1950-1980-х гг. (на примере мотива руки) // Актуальные проблемы современного литературоведения: Материалы межвузовской науч. конф. Вып. 2. М., 1988. С. 80-82.
- ⁵⁷ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. С. 407.
- ⁵⁸ Там же. Т. 3. С. 317.
- ⁵⁹ Там же. С. 318. В оригинале это словосочетание взято в кавычки. Здесь и далее все графические выделения в цитируемых текстах принадлежат их авторам.
- ⁶⁰ Штурман Д.М. Городу и миру. С. 395. Точнее, кавычки есть, но не везде.
- ⁶¹ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 318.
- ⁶² Там же. С. 448.
- ⁶³ Там же.
- ⁶⁴ См.: Там же. Т. 2. С. 112.
- ⁶⁵ Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995. С. 163.
- ⁶⁶ Inter — между (лат.).
- ⁶⁷ Не случайно создатели идеологии пролетарского интернационализма К.Маркс и Ф.Энгельс в ответ на обвинение в том, что коммунисты «хотят отменить отечество, национальность», отвечали: «Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет» (Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М., 1966. С. 52).
- ⁶⁸ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 302.
- ⁶⁹ Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 209-210.
- ⁷⁰ Там же. Т. 4. 1994. С. 255-256.
- ⁷¹ Там же. С. 241.
- ⁷² Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 302.
- ⁷³ См.: Немзер А.С. Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В круге первом» // Лит. обозрение. 1990. № 6. С. 33.
- ⁷⁴ См.: Спиваковский П.Е. История, душа и «эго» // Там же. 1996. № 1. С. 48-50.
- ⁷⁵ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 51.
- ⁷⁶ Солженицын А.И. В круге первом. Т. 2. М.: Центр «Новый мир», 1990. С. 79.
- ⁷⁷ Солженицын А.И. Красное Колесо. Т. 4. С. 548-549.

Роман Якобсон

Заметки об «Августе Четырнадцатого»

Если великая эра русской поэзии приходится на начало девятнадцатого века, то поэтическим пиком нашего столетия стала его первая треть. После расцвета в России классического романа в конце девятнадцатого века затем наступает длительное затишье, и вплоть до недавнего времени роман утрачивает свое ведущее положение в русском литературном процессе. Этот жанр нашел воплощение как в романых экспериментах поэтов от Сологуба и Белого до Пастернака, так и главным образом в переделках классических образцов. Солженицын является первым *современным* русским романистом, оригинальным и великим. Его книги, и особенно «Август Четырнадцатого», представляют собой беспрецедентный творческий сплав всеобъемлющей эпопеи (с трагическим катарсисом) и скрытой проповеди. Свообразием онтологической временной перспективы расширяет все три составные части этого последнего романа, усиливает его напряженность и новизну и сбивает с толку ленивого читателя.

Величие Солженицына — главная причина не только тупого и жестокого преследования писателя мелкими чиновниками-бюрократами на его родине¹, но также и клеветнических памфлетов, состряпанных его соотечественниками здесь, в Америке. Еще недавно мы возмущались придирчивыми и безвкусными списками воображаемых анахронизмов и языковых просчетов, злобно раскапываемых в новой книге этого грандиозного мастера слова и точного портретиста, однако рекорд подобных отвратительных придирок, возможно, побит в самом Нью-Йорке другим русским периодическим изданием, которое объявило, что Солженицын — это просто мистификация и что книги, приписываемые ему, являются в действительности жалкой продукцией вероломного обмана, совершенного московскими властями². Что касается американских критиков, которые не придали значения этим романам писателя, провозгласив их темы слишком странны-

ми и чуждыми американскому читателю, то подобное непонимание глубочайшей универсальности солженицынских тем напоминает мне рецензию на оперу «Золотой Петушок» в «Геральд Трибьюн» сороковых годов, автор которой восхищался музыкой Римского-Корсакова, но нашел сюжет Пушкина слишком русским и чересчур наивным для американской публики: критик упустил из поля зрения стопроцентно американский источник произведения — сказку Вашингтона Ирвинга, заимствованную русским поэтом³.

Пер. с англ. Т.Т.Давыдовой

Комментарий

Впервые публикуемая на русском языке «Заметка об «Августе Четырнадцатого» выдающегося филолога XX века Романа Осиповича Якобсона (1896-1982) относится к последнему, американскому периоду жизни и деятельности ученого (1941-1982). Весьма показателен его интерес как к творчеству А.И.Солженицына, так и в особенности к «Августу Четырнадцатого», первому «Узлу» десятилетней эпопеи «Красное Колесо» (1937, 1969-1990), посвященной художественному воссозданию эпохи Первой мировой войны и Февральской революции. Якобсон был знаком лишь с первой, однотомной редакцией «Августа Четырнадцатого» (Париж: YMCA-Press, 1971), однако это не помешало ему оценить исключительную художественную значимость этой книги не только для творчества самого Солженицына, но и в гораздо более широкой историко-литературной перспективе. Якобсон не случайно обращает внимание на глубоко новаторскую художественную структуру этого произведения, которая нередко дезориентирует не только «ленивого читателя», но и многих исследователей, которые безосновательно пытаются прочесть «Август Четырнадцатого» как сугубо «традиционалистский» роман, написанный в стиле русской прозы XIX века, и стремятся объяснить очевидную новизну его поэтики «художественной неумелостью» автора. Критическая оценка такого рода интерпретаций, данная Р.О. Якобсоном, весьма актуальна и сегодня.

¹ Речь идет о травле Солженицына, организованной советскими властями после присуждения ему в 1970 году Нобелевской премии по литературе (заметка Якобсона была написана за два года до высылки писателя из СССР).

² Якобсон имеет в виду статью историка Николая Ульянова «Загадка Солженицына» (Новое русское слово. Нью-Йорк, 1971. 1 авг. № 22328. С. 2), автор которой утверждал, что никакого Солженицына вообще не существует, поскольку его произведения «не написаны одним пером», а «носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных специальностей». По мнению Ульянова, отсутствующий в реальности Солженицын «сфабрикован» литературной мастерской КГБ «в целях выколачивания валюты». См. также: Поспеловский Д.В. Загадка Н.И.Ульянова // Там же. 15 авг. № 22342. С. 2.

³ Речь идет о впервые обнаруженной А.А.Ахматовой очевидной генетической связи пушкинской «Сказки о золотом петушке» с «Легендой об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга из его книги «Альгамбра» (см.: Ахматова А.А. Последняя сказка Пушкина // Звезда. Л., 1933. № 1. С. 161-176. Полный текст этой статьи см.: Ахматова А.А. Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1987. Т. 2. С. 8-33).

Отрывок из интервью «Редактор интервьюирует Романа Якобсона», взятого Филипом Равом («Модерн Екейдженс», 1972, зима, С. 19-20). Оттуда с разрешения автора текст перепечатан в издании: Aleksandr Solzhenitsyn: Crit. essays a. documentary materials / Ed. by Dunlop J.B. et al. Belmont (Mass.): Nordland publ. CO, 1973. P. 326-327. *Примечание переводчика.*

П.Е.Сиваковский

Татьяна Вознесенская

Лагерный мир Александра Солженицына: тема, жанр, смысл

Лагерная тема исследуется Солженицыным на уровне разных жанров — рассказа, документального повествования большого объема («художественное исследование» — по определению самого писателя), драматического произведения и киносценария — и занимает в его творчестве особенно значимое место, открывая его перед читателем «Одним днём Ивана Денисовича» и помещая в центр «Архипелаг ГУЛАГ». Это место определяется тем, что лагерь оказывается наиболее емким символом русской жизни послереволюционного периода.

При единстве темы разные жанры, являясь особыми способами осмысления жизни, требуют разного отбора материала, создают разный тип конфликтности, разнятся возможностями выражения авторской позиции.

«Архипелаг ГУЛАГ», со всей необычностью его художественной формы, оказывается характернейшим выражением Солженицына — художника и человека, отказывающегося принимать традиционные классификации и деления как в литературе, так и в жизни. Его «художественное исследование», с современной точки зрения принадлежащее публицистике, если смотреть на него из других, более древних культур, скажем, античности, включающей в художественный круг историческое повествование, ораторскую прозу, эстетические и философские труды, — конечно, литература, художественность, которая в своей нерасчлененности соответствует глобальности поставленной задачи.

«Архипелаг...» дал возможность решить две необходимые для Солженицына задачи — полноту объема, которая выражается и в стремлении к многосторонности исследования лагерной жизни (всё), и в многочисленности участников (все), и максимально прямое выражение авторской позиции, непосредственное звучание собственного голоса.

Обращение Солженицына к драматической форме («Республика труда», входящая в драматическую

трилогию «1945 год» как третья часть) кажется совершенно естественным именно из-за того, что пьеса, в идеале требующая воплощения на сцене, которая ограничивает размерами сценической площадки изображенный мир, по самой своей природе тяготеет к видению этого мира как некоей целостности (название шекспировского театра «Глобус» прямо указывает на это). Непосредственное и сильное эмоциональное воздействие театра на зрителя тоже служит аргументом в выборе формы. Но с другой стороны, изображение мира, в котором человек ограничен в проявлении своей личностной активности, противоречит самой природе драматического сюжета, основанного на свободном действии-выборе. Видимо, именно это, а не та неискусность новичка, незнакомого со столичной театральной практикой, о которой говорит сам Солженицын в книге «Бодался телёнок с дубом», привела к художественной неудаче.

Лишь один поворот лагерной темы изначально насыщен драматизмом (конфликтностью, проявляемой через действие), и это — попытка обретения свободы. Мотивы жизни, смерти, верности, предательства, любви, возмездия требуют драматической реализации, грубая же и нечеловеческая сила давления и уничижения («танк» — одновременно как реальный образ и как емкий символ этой силы) ярче всего воплощается средствами эпической изобразительности. Отсюда — сценарная форма трагедии «Знают истину танки!». вернее, не просто сценарий как первая ступенька к осуществлению законченного произведения — фильма, а уже законченное литературное произведение, где применение двух экранов или монтажный стык, оговоренный автором в самом начале, есть не более чем обнажение эпического приема переключения (пространственного, временного или эмоционального). Любое обнажение приема стимулирует сознательность восприятия читателя/зрителя, в данном случае либо усилением выразительности единого действия с помощью монтажного деления его на элементы (в сценах убийства стукачей смена крупных кадров: грудь — рука, взмахивающая ножом — удар), либо созданием системы контрастов — от контраста времени и места (ресторанный оркестр в начальных сценах обрамления, настоящее время — лагерный оркестр, возвращающий в прошлое), контраста обитателей этих двух миров (чистая ресторанный публика — грязные лагерные зеки) до контраста лжи и правды, данного зримо (политрук рассказывает солдатам ужасы о чудовищах, вредителях и антисоветчиках — ботанике Меженинове, Мантрове и Федотове, — а в темном нижнем углу экрана одновременно вспыхивает уменьшенный кадр с мирно штопающим носок ботаником, со светлыми лицами мальчиков).

Кажется, не может быть ничего более противоположного в решении лагерной темы, чем этот сценарий и «Один день Ивана Денисовича». Отметим лишь некоторые, самые заметные случаи, противоположные в отборе событий (гибель заваленных землей заключенных; неудавшийся побег; подкоп; убийства стукачей; убийство стукачами Гавронского; штурм тюрьмы; освобождение женского барака; танковая атака; рас-

стрел оставшихся в живых) — событий, исключительных в сценарии, а в рассказе рутинно-обыденных: здесь даже то небольшое, что может выделить день из ряда обыкновенных (освобождение от работ по болезни или карцер за проступок), дано лишь как возможное (в одном случае желанное, в другом — страшное), но не осуществленное.

Другая важная проблема, которую здесь лишь наметим, — проблема авторского голоса. Если в «Одном дне...» голос автора, отделенный от голоса героя, появляется лишь несколько раз (знаком, указывающим на присутствие авторской точки зрения служит многоточие, которое в начале абзаца вводит голос автора, и оно же в начале одного из следующих абзацев возвращает нас к точке зрения героя); в рассказе о Коле Вдовушкине, занимающемся «непостижимой» для Шухова литературной работой, или о Цезаре, который курит, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», — и каждый раз это выход за пределы понимания или осведомленности героя. При этом конфликта точек зрения автора и героя нет. Это особенно заметно в авторском отступлении об обедавшем кавторанге: «Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного ээка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отвёрстанные ему двадцать пять лет тюрьмы», сменяющемся обычной несобственно-прямой речью: «А по Шухову, правильно, что капитану отдали. Придёт пора, и капитан жить научится, а пока не умеет». Авторское побочное замечание о Буйновском: «Он не знал этого...» — противопоставляет капитана одновременно общему знанию и автора, и Шухова.

В сценарии авторский голос имеет иную функцию. Здесь важно не совмещение или, напротив, различие видения-знания автора и героев (в «фильме» автор как бы видит-рассказывает все происходящее перед ним), а общая точка зрения автора и условного зрителя. Поэтому автор вглядывается в картину, как вглядывается в нее сидящий в зале, подбирает более точные слова, уясняет дело для себя и нас: «И вдруг из крайнего ряда — здоровенный парнюга с глупым лицом — нет, с лицом затравленным! — нет, с обезумевшим от ужаса! <...>». Под дулами автоматов люди падают на дорогу: «может, и убило кого?» — незнание и напряженное ожидание объединяют повествователя и читателя. И общей становится фольклорно-песенная тональность переживания: «Как ветер кладёт хлеба — так положило волной заключённых. В пыль! на дорогу! (может, и убило кого?) Все лежат!»

Но если важно установить общее авторско-читательское поле эмоционального напряжения, то еще более важно увидеть то, что происходит, как с тобой, вернее, с нами происходящее: «<...> Летят мотоциклы. Их восемь. Сзади каждого — автоматчик. Все на нас! <...> Разъезжаются вправо и влево, чтоб охватить нас кольцом.

Бьют. *Здесь, в зрительном зале, бьют!*» (курсив мой. — Т. В.).

То, что трагедия, по самому классическому устройству своему как будто удаленная от обычной жизни (персонажи — герои мифов и истории, цари и принцы, религиозные подвижники и великие преступники; события — гибельные и исключительные), имеет самое непосредственное отношение к жизни каждого, знали и родоначальники жанра, греки. В знаменитом четвертом стасиме софокловского «Царя Эдипа», после того как открылась перед героем и хором страшная истина его жизни и еще раз вспомнились преступления — убийство отца, совокупление с матерью, — каких не делал *никогда никто*, — хор поет об *общей доле* людей:

Люди, люди! О смертный род!

Жизнь земная, увя, тщиета!

<...>

О злосчастный Эдип! Твой рок

Нынче уразумеет, скажу:

Нет на свете счастливых.

(Пер. С. Шервинского)

Совмещение «там» и «тогда» и «здесь» и «сейчас», «лагерь» и «зрительный зал» — найденный Солженицыным способ выразить общую судьбу тех, кто пережил лагерную трагедию, и тех, кто был от этого избавлен. Избавлен, но не освобожден от причастности к ней.

В «Одном дне Ивана Денисовича» невозможно представить ничего подобного. Повествование здесь безадресное, в нем нет и не может быть прямого обращения вовне. Тип повествования, замкнутый сознанием героя, адекватен создаваемой в рассказе картине мира. Образ лагеря, самой реальностью заданный как воплощение максимальной пространственной замкнутости и отгороженности от большого мира, осуществляется в рассказе в такой же замкнутой временной структуре одного дня. Ошеломляющая правдивость, о которой говорит каждый пишущий об этом шедевре Солженицына, задается не только на уровне высказываний или событий, но и на самой глубине произведения — на уровне хронотопа.

Пространство и время этого мира проявляют свою особенность в контрастном сопоставлении с другим или другими мирами. Так, главные свойства лагерного пространства — его отгороженность, закрытость и обозримость (стоящий на вышке часовой видит все) противопоставляют открытости и беспредельности природного пространства — степи. Внутри свои единицы закрытого пространства — барак, лагерь, рабочие объекты. Самая характерная черта лагерного пространства — заграждение (с постоянными деталями его устройства: сплошной забор — заостренные столбы с фонарями, двойные ворота, проволока, ближние и дальние вышки — мы встречаемся и здесь, и в пьесе, и в сценарии); и потому при освоении нового объекта «прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать». Структура этой фразы точно воспроизводит порядок и значение образа пространства: сначала мир описывается как закрытый, потом — как несвободный, причем именно на

вторую часть (не зря выделяемую интонационно) падает основное ударение. Перед нами возникает, казалось бы, четкая оппозиция лагерного мира с набором присущих ему признаков (закрытый, обозримый, несвободный) и мира внешнего с его признаками открытости, беспредельности и — следовательно — свободы. Эта противоположность оформлена на речевом уровне в назывании лагеря «зоной», а большого мира «волей». Но на деле подобной симметрии нет. «Свистит над голой степью ветер — летом суховеяный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя — и подавно». Степь (в русской культуре образ-символ воли, усиленный столь же традиционным и то же означающим образом ветра) оказывается приравнена к несвободному, заключенному пространству зоны: и здесь и там этой жизни нет — «отроду ничего не росло». Оппозиция снимается и в случае, когда большой, внешний мир наделяется свойствами лагерного: «Из рассказов вольных шоферов и экскаваторшиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили <...>». И напротив, лагерный мир неожиданно обретает чужие и парадоксальные свойства: «Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь *от луза*». Речь здесь идет о свободе слова — праве, которое перестает быть общественно-политической абстракцией и становится естественной необходимостью для человека говорить как хочет и что хочет, свободно и беззапретно: «А в комнате орут:

— Пожалее-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!»

Слова, немислимые на «воле».

Большой советский мир проявляет новые свойства — он лжив и жесток. Он создает миф о себе как о царстве свободы и изобилия и за посягательство на этот миф беспощадно карает: «В усть-ижменском <лагере> скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают». В малом мире лагеря больше жестокости, меньше лжи, и сама ложь здесь иная — не политически абстрактная, а человечески понятная, связанная с противостоянием и ненавистью внутри лагеря, с одной стороны, лагерного народа, заключенных, с другой — всех, кто над ними, от начальника лагеря до солдат-конвоиров. Главная ложь приговоров и показаний («Считается по делу, что Шухов за измену родине сел») осталась там, за порогом лагеря, и здесь начальству как будто нет в ней нужды, но характерно, что заключенные чувствуют, что все здесь устроено на лжи и что эта ложь направлена против них. Врет термометр, недодавая градусов, которые могли бы освободить их от работы: « — Да он неправильный, всегда брешет, — сказал кто-то. — Разве правильный в зоне повесят?» И собственная ложь зеков — необходимая часть выживания: пайка, спрятанная Шуховым в матрас, сворованные им за обедом две лишние миски, взятки, которые несет бригадир нарядчику, чтобы бригаде досталось место работы получше, показуха вместо работы для начальства — все это оформляется в твердое заключение: «А иначе бы давно все подохло, дело известное».

Другие свойства лагерного мира обнаруживаются во второй составляющей хронотоп характеристике —

характеристике времени. Важность ее задела и в самом названии рассказа, и в композиционной симметрии начала и конца — самая первая фраза: «В пять часов утра <...>» — точное определение начала дня и — одновременно — повествования. А в последней: «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый» — совпадают конец дня и собственно рассказа. Но эта фраза не совсем последняя, она последняя в сюжетно-событийном ряду. Финальный же абзац, отделенный двумя пустыми строками, структурно воссоздает образ времени, заданный в рассказе. Финал делится на две части: первая: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три» — как будто воплощает непредставимую абстракцию срока «десять лет», переводя ее в настолько же житейски непредставимое для человека количество единиц; вторая: «Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...» — уважительное выделение трех дней (такой малости по сравнению с тысячами!) определяет отношение к дню как концентрации целой жизни.

Антитеза «время абстрактное — время реально-человеческое» не единственная; частично совпадает с ней еще более важная оппозиция «чужое — свое». «Свое» время обладает чувственной конкретностью — сезонностью («<...> сидеть Шухову ещё немало, зиму-лето да зиму-лето») или определенностью дневного распорядка — подъем, развод, обед, отбой. Точное время, измеряемое часами, — голая абстракция: «Никто из зеков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы?», и потому недостоверно; фактическая точность подвергается сомнению как слух: «Всё же *говорят*, что проверка вечерняя бывает в девять. <...> А в пять часов, *толкуют*, подъём» (курсив мой. — Т.В.). Максимальное выражение не своего времени — «срок». Он измеряется абстрактными, не зависящими от дела осужденного «десятками» («Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая»), в отличие от времени, измеряемого моментами, минутами, часами, днями, сезонами; «срок» неподвластен основному закону времени — течению, движению: «Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идёт, не убавляется его вовсе».

Оппозиция «своего — чужого» одна из основных в рассказе. Она может быть и пространственной (для Ивана Денисовича «свое» пространство — это прежде всего то место в бараке, где располагается его 104-я бригада; в санчасти он садится на самый краешек стула, «показывая невольно, что санчасть ему чужая»), и пространственно-временной: прошлое и родной дом — целостность его жизни — невозвратно отдалены и отчуждены от него. Сейчас писать домой — «что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет». Препятнее домашнее пространство перестает быть родным, оно осознается как странное, сказочное — как жизнь тех крестьян-красилей, о которых рассказывает в письме жена: «ездят по всей стране и даже в самолётах летают <...>, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют».

Дом — необходимая для человека данность — это

не «там и тогда», а «здесь и сейчас», и потому домом становится лагерный барак — после работы на морозе расстегивать одежду для обыска не страшно:

«<...> домой идем.

Так и говорят все — «домой».

О другом доме за день и вспомнить некогда».

Как понятие «дом» ведет за собой понятие «семья» (семьей называет бригаду Иван Денисович), так пространственно-временная антитеза «свое — чужое» естественно становится антитезой внутри мира людей. Она задается на нескольких уровнях. Во-первых, это наиболее предсказуемая оппозиция зеков и тех, кто отрешен распоряжаться их жизнью, — от начальника лагеря до надзирателей, охранников и конвоиров (иерархия не слишком важна — для зеков любой из них «гражданин начальник»). Противостояние этих миров, социально-политических по своей природе, усилено тем, что дано на уровне природно-биологическом. Не могут быть случайными постоянные сравнения охранников с волками и собаками: лейтенант Волковой («Бог шельму метит», — скажет Иван Денисович) «иначе, как волк <...>, не сморит», надзиратели «зарьялись, кинулись как звери», «только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись», «вот собаки, опять считать!» — о них же, «да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь?» — о начальнике караула.

Зеки же — беззащитное стадо. Их пересчитывают по головам:

«<...> хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног»; «— Стой! — шумит вахтер. — Как баранов стадо. Разберись по пять!»; хлопещ Гопчик — «телёнок ласковый», «тонюсенький у него голосочек, как у козлёнка»; кавторанг Буйновский «припёр носилки, как мерин добрый».

Эта оппозиция волков и овец легко накладывается в нашем сознании на привычное басенно-аллегорическое противопоставление силы и беззащитности («Волк и ягненок»), или, как у Островского, расчетливой хитрости и простодушия, но здесь важнее другой, более древний и более общий смысловой пласт — связанная с образом овцы символика жертвы. Для лагерной темы, общий сюжет которой — жизнь в царстве нежизни и возможность (Солженицын) либо невозможность (Шаламов) для человека в этой нежизни спастись, сама амбивалентность символа жертвы, соединяющего в себе противоположные смыслы смерти и жизни, гибели и спасения, оказывается необычайно емкой. Содержательная ценность оппозиции заключена в ее связанности с проблемой нравственного выбора: принять ли для себя «закон волков», зависит от человека, и тот, кто принимает его, обретает свойства прислуживающих волчьему племени собак или шакалов (Дэр, «десятник из зеков, сволочь хорошая, своего брата зека хуже собак гоняет», заключенный, заведующий столовой, вместе с надзирателем расшвыривающий людей, определяется единым с надзирателем словом: «Без надзирателей управляют, полканы»).

Зеки превращаются в волков и собак не только когда подчиняются лагерному закону выживания сильных («Кто кого сможет, тот того и глохнет»), не только когда, предавая своих, прислуживаются к лагерному начальству, но и когда отказываются от своей лично-

сти, становясь толпой, — это самый трудный для человека случай, и никто не гарантирован здесь от превращения. Так, в разъяренную толпу, готовую убить виновного — заснувшего молдаванина, проспавшего проверку, — превращаются ждущие на морозе пересчета зеки: «Сейчас он <Шухов> зяб со всеми, и лютел со всеми, и ещё бы, кажется, полчаса подержи их этот молдован, да отдал бы его конвой толпе — разодрали б, как волки телёнка!» (для молдаванина — жертвы — остается прежнее имя «телёнок»). Вопль, которым толпа встречает молдаванина — волчий вой:

«— А-а-а! — завопили зеки! — У-у-у!»

Другая система отношений — между заключенными. С одной стороны, это иерархия, и лагерная терминология — «придурки», «шестёрки», «одоходяги» — ясно определяет место каждого разряда. «Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идёт. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмёт, есть пониже». Антитеза «свое — чужое» оказывается в этом случае оппозицией верха и низа в лагерном социуме («Очень спешил Шухов и всё же ответил прилично (помбригадир — тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря)»; фельдшера Колю Вдовушкина он называет Николаем Семёнычем и снимает шапку, «как перед начальством»).

Другой случай — выделение стукачей, которые противопоставлены *всем* лагерникам как *не совсем люди*, как некие отдельные органы — функции, без которых не может обойтись начальство. Нет доносителей — нет возможности видеть и слышать, что происходит среди *людей*. «Нам выкололи гла-за! Нам отрезали у-ши!» — кричит лейтенант Бекеч в сценарии, точными словами объясняя, что же такое стукачи.

И, наконец, третий и, возможно, наиболее трагически-важный для Солженицына случай внутренней оппозиции — противопоставление народа и интеллигенции. Эта проблема, кардинальная для всего девятнадцатого века — от Грибоедова до Чехова, отнюдь не снимается в веке двадцатом, но мало кто ставил ее с такой остротой, как Солженицын. Его угол зрения — вина той части интеллигенции, которой народ *не виден*. Говоря о страшном потоке арестов крестьян в 1929-1930 гг., который почти не заметила либеральная советская интеллигенция шестидесятых, сосредоточившаяся на сталинском терроре 1934-1937 гг. — на уничтожении *своих*, он как приговор произносит: «А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей». ¹ В «Одном дне...» Шухов видит интеллигентов («москвичей») как чужой народ: «И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их — всё равно как латышей или румын». Точно так же больше века назад Грибоедов говорил о дворянах и крестьянах как о разных народах: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец <...> он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами». ² Резкость оппозиции особенно чувствуется потому, что традици-

онное национальное отчуждение у Солженицына практически снято: общность судьбы ведет к человеческой близости, и Ивану Денисовичу понятны и латыш Кильдигс, и эстонцы, и западный украинец Павло. Человеческое братство создается не вопреки, а скорее благодаря национальной отмеченности, которая дает полноту и яркость большой жизни. И еще один мотив (правда, максимально реализованный лишь в сценарии) — мотив возмездия — требует разнонационального соединения людей: в «Танках» неофициальный трибунал, осуждающий на смерть стукачей, это кавказец Магомет, литовец Антонас, украинец Богдан, русский Климов.

«Образованный разговор» — спор об Эйзенштейне между Цезарем и стариком каторжанином X-123 (его слышит Шухов, принесший Цезарю кашу) — моделирует двойную оппозицию. Во-первых, внутри интеллигенции: эстет-формалист Цезарь, формула которого «искусство — это не *что*, а *как*», противопоставлен стороннику этического осмысления искусства X-123, для которого «к чёртовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!», а «Иван Грозный» есть «гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тираннии», и, во-вторых, оппозиция интеллигенции — народа, и в ней Цезарь и X-123 *равно* противопоставлены Ивану Денисовичу. На малом пространстве эпизода — всего страница книжного текста — Солженицын трижды показывает — Цезарь не замечает Ивана Денисовича: «Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, не видит. <...> Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху <...> <...> Цезарь совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной». Но и «добрые чувства» старого каторжанина направлены только на своих — на память «трёх поколений русской интеллигенции», и Иван Денисович ему незаметен.

Это непростительная слепота. Иван Денисович в рассказе Солженицына не просто главный герой — он обладает высшей авторитетностью повествователя, хотя по скромности своей вовсе не претендует на эту роль. Основной повествовательный прием, от которого писатель отказывается ради авторской речи всего несколько раз, и очень ненадолго, — несобственно-прямая речь заставляет нас видеть изображаемый мир прежде всего глазами Шухова и понимать этот мир через его сознание. И потому центральная проблема рассказа, совпадающая с проблематикой всей новой (с начала XIX века) русской литературы, — обретение свободы — приходит к нам через проблему, которая осознается Иваном Денисовичем как главная для его жизни в лагере, — выживание.

Простейшая формула выживания: «свое» время + еда. Это мир, где «двести грамм жизнью правят», где черпак шей после работы занимает высшее место в иерархии ценностей («Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прошлой и всей будущей жизни»), где об ужине говорится: «Вот он миг короткий, для которого и живёт ээк!» Пайка, спрятанная около сердца, символична. Время измеряется едой: «Самое сытное время лагернику — июнь: всякий онош кончается, и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в

котёл секут». Отношение к еде как к сверхценной идее, способность целиком сосредоточиться на ней определяют возможность выживания. «Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок», — говорится о старом интеллигенте-каторжанине. Шухов именно *чувствует* каждую ложку, каждый проглоченный кусок. Рассказ полон сведений о том, что такое магара, чем ценен овес, как спрятать пайку, как корочкой выедать кашу, в чем польза плохих жиров.

Жизнь — высшая ценность, человеческий долг — спасение себя, и потому перестает действовать традиционная система запретов и ограничений: сворованные Шуховым миски каши — не преступление, а заслуга, зековская лихость, Голчик свои посылки по ночам в одиночку ест — и здесь это норма, «правильный будет лагерник».

Поразительно другое: нравственные границы хоть и изменяются, но продолжают существовать, и более того — служат гарантией человеческого спасения. Критерий прост: нельзя изменять — ни другим (как стукачи, сберегающие себя «на чужой крови»), ни себе.

Неизживаемость нравственных привычек, будь то неспособность Шухова «шкалить» и давать взятки или «выкanye» и обращение «по отчеству», от которого не могут отучить западных украинцев, — оказывается не внешней, легко смываемой условиями существования, а внутренней, природной устойчивостью человека. Эта устойчивость определяет меру человеческого достоинства как внутренней свободы в ситуации максимального внешнего отсутствия ее. И чуть ли не единственным средством, помогающим осуществить эту свободу и — следовательно — позволяющим человеку выжить, оказывается работа, труд. «<...> так *устроен* (курсив мой. — Т.В.) Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». Работа определяет людей: Буйновский, Фетюков, баптист Алешка оцениваются по тому, какие они в общем труде. Работа спасает от болезни: «Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало». Работа превращает «казённое» время в «своё»: «Что, гадство, день рабочий такой короткий?» Работа разрушает иерархию: «<...> сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся». И главное, она уничтожает страх: «<...> Шухов, хоть там его сейчас конвой псами триви, отбежал по площадке назад, глянул».

Свобода, измеренная не высотой человеческого подвига («Знают истину танки!»), а простотой ежедневной рутины, с тем большей убедительностью осмысливается как естественная жизненная необходимость.

Так в рассказе об одном дне жизни советского лагерника совершенно естественно смыкаются две большие темы русской классической литературы — искание свободы и святость народного труда.

Примечания

¹ Солженицын А.И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М., 1990. — Архипелаг ГУЛАг. С.27.

² Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С.383-384.

Сергей Кормилов

«Мы забыли, что такие люди бывают»

Ахматова и Солженицын

В воспоминаниях Наталии Роскиной об Ахматовой есть одна существенная ошибка: «Когда вышел номер «Нового мира» с «Одним днём Ивана Денисовича» и Солженицын стал необыкновенно популярен, он захотел побывать у Ахматовой <...>». На самом деле их заочное и очное знакомство произошло до выхода «Одного дня...», до всеобщей популярности его автора и отразилось на ахматовской творческой биографии.

В первой половине сентября 1962 года у Анны Андреевны кончился комаровский дачный сезон. В записной книжке появились два помеченные латинскими цифрами I и II стихотворения, связанные не только размером, но и содержанием. Одно, четырехстрочное, — «[Что] Как? — тебе еще мало по-русски / [Что] II — ты хочешь на всех языках? / Знать, как круты подъемы и спуски / И почему у нас совесть и страх? (ЗК, с. 257) — при жизни Ахматовой не публиковалось; с изменениями («А, тебе еще мало по-русски...», без вопросительных знаков) оно было включено в цикл, или, вернее, подборку «Вереница четверостиший». В нем просвечивает тема поэта, оставшегося в своей стране и перенесшего с ней великие страдания, и восприятия всего этого со стороны, из-за границы, где не имели даже приблизительного представления о том, что творилось в СССР при Сталине и что преодолевалось непоследовательно («подъемы и спуски»).

Второе, восьмистрочное стихотворение лишь внешне не столь крамольно. Оно более автобиографично:

*Вот она, плодоносная осень, —
Поздновато ее привели,
А пятнадцать божественных весен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко ее [рассмотрела] разглядела,
К ней приникла, ее обняла,
И она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.*

(ЗК, с. 257-258)

Речь идет, разумеется, не об урожае колхозных полей. «Плодоносная осень» не сама пришла в силу смежных сезонов, ее «привели». Истек неполный год после XXII съезда КПСС с его открытиями и более резким, чем на XX съезде, разоблачением культа личности. Ахматова ощущает моральный подъем после особенно тягостных для нее лет: пятнадцать весен отделяло наступившее время от погромного августовского постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Мотив подмены весны исключительной осенью повторяется у Ахматовой спустя ровно сорок лет после стихотворения «Небывалая осень построила купол высокий...» (размер другой, но метр один: тогда был пятистопный анапест, теперь трехстопный, при небольшом количестве написанного Ахматовой связь ощутима). Там светлые ожидания лирической героини порождал приход некоего «спокойного» человека, друга, здесь — изменение «климата», отнюдь не природного. Это понятно. Но откуда двойной эпитет «тайную», «тайно»? «Оттепель» была публичной. Нет ли тут намек на некую душевную силу, пока еще открыто о себе не заявившую?

Под текстом стихотворения в записной книжке помечено:

«Завтра уезжаю.

12 сент<ября> 1962. Конец Комарова (ЗК, с.258).

Около 12 сентября Ахматова в принципе уже могла познакомиться с машинописью рассказа Солженицына и уж во всяком случае слышать о ней, ходившей по рукам, если не от ленинградских, то от многочисленных московских друзей. После дачного сезона она поехала в Москву. В записи Л.К. Чуковской от 19 сентября рассказывается о разговоре с Ахматовой, начавшемся в 12 часов — видимо, этого же дня, хотя по тексту можно предположить, что и одного из предыдущих (ЛЧ, т.2, с.508). К тому времени Анна Андреевна прочитала «Один день з/к» (так называлась машинопись) и сказала Чуковской: «Эту повесть о-бя-зан прочитать и выучить наизусть — каждый гражданин из всех двухсот миллионов граждан Советского Союза» (ЛЧ, т.2, с.512).

Ожидание решения вопроса о публикации Солженицына вне сомнения способствовало если не созданию стихотворения «Вот она, плодоносная осень...», то появлению у Ахматовой мысли предложить его для напечатания массовым тиражом — в газету. Первоначально намечалась «Литературная газета» (ЗК, с.249), а появилось стихотворение вместе с двумя другими (из цикла «Шиповник цветет»: «В разбитом зеркале» и «Говорит Дидона»), также отчетливо автобиографическими, 26 октября, как ни странно, в официальной газете «Литература и жизнь», заслужившей прозвище «Литература и смерть»: контекст, на первый взгляд сугубо личного содержания, притупил бдительность тупых редакторов, не понявших весьма прозрачных аллегорий плодоносной осени и пятнадцати весен. Ахматовой только пришлось наряду с незначительными изменениями в тексте сделать одно значительное — пожертвовать эпитетом «божественных» и написать «блаженнейших» (АА, т.1, с.292), что противоречит смыслу произведения, реальным фактам (для Ахматовой «божественные» весны от-

нюдь не были блаженными) и никак не может считаться «авторской волей» (это стоит учесть публикаторам).

«Силу тайную тайно лила» в ахматовскую героиню земля, которую автор в свое время не «бросил <...> на растерзание врагам». За это к Ахматовой особое уважение испытывал Солженицын: «Да начиная с 17-го года всё отдаём, все отдают. — так оно вроде легче. Уже сколько поддались этой ошибке — переоценили силы их, недооценили свои. А были же люди — Ахматова, Пальчинский, кто не поехал, кто отказался в 1923 году подписать заявление на легкий выезд»². Александру Исаевичу еще предстояло продемонстрировать верность своей земле, отвергая не раз предоставлявшуюся возможность «легкого выезда».

Произведения Ахматовой он знал хорошо, и тоже не только опубликованные. После первой встречи с ним, состоявшейся благодаря Л.З.Копелеву 28 октября 1962 года в Москве у Марии Петровых, Анна Андреевна рассказывала:

« — Я прочитала ему... Он сказал: «Я так и думал, что вы не молчите, а пишете что-то, чего нельзя печатать». «Поэму» («Поэма без героя» не была тогда опубликована. — С.К.) знает наизусть. О ней говорит так: «Сначала все непонятное-непонятное, а потом понятное-понятное». Обо мне сказал мне слова, которые я слышать не могу. Нет, не о Пушкине. Да, о России. *И он тоже!*... Вы понимаете, конечно, что это значит: услышать *их от него*...» (ЛЧ, т.2, с.532-533). А.Г.Найману Ахматова передала эти смущавшие ее и такие дорогие ей слова. «Прочитала "сиделок тридцать седьмого"»³. Он сказал: «Это не вы говорите, это Россия говорит». Я ответила: «В ваших словах соблазн». Он возразил: «Ну что вы! В вашем возрасте...» Он не знает христианского понятия» (АН, с.136). Из-за «соблазна» Ахматова и «не могла слышать» эти слова.

Н.А.Роскина справедливо оценила отношение Анны Андреевны к А.И.Солженицыну: «О свидании с ним она рассказывала в необычных для нее тонах. Ведь она привыкла к тому, что к ней приходят на поклон, а тут пришел человек, которому она сама готова была и хотела поклониться» (В, с.538). В последний период жизни Ахматова вела себя в отношении властей, как правило, осторожно, внешне даже демонстрировала свою лояльность⁴. В собственноручной записи о визите Солженицына слова в скобках — обозначение места встречи и настоящая фамилия писателя — не псевдоним, под которым «Ш-854 (Один день одного зэка)» был предложен в редакцию «Нового мира», — поставлены позднее, видимо, когда пришло осознание того, что конспирация не нужна: «Вчера (28-го) у меня (у Маруси в Москве) был Рязанский (Солженицын). Впечатление ясности, простоты, большого человеческого достоинства. С ним легко с первой минуты» (ЗК, с.253).

С точки зрения собственно литературных достоинств Ахматова поставила «Ш-854» гораздо выше знаменитой повести кумира тогдашней молодежи:

« — В «Старике и море» Хемингуэя подробности меня раздражают. Нога затекла, одна акула сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и т.д. И все ни к чему. А тут каждая подробность нужна и дорога...» (ЛЧ, т.2, с.512).

Но больше волновало Анну Андреевну общественное значение предстоящей публикации. Впервые правда о сталинских лагерях, пусть еще не о самом страшном, могла быть явлена всему миру. По свидетельству Л.К.Чуковской, А.Г.Наймана, Вяч.Вс.Иванова, Н.А.Роскиной, Н.Готхарта (ЛЧ, т.2, с.533, 535; АН, с.136; В, с.483, 538; НГ, с.266), Ахматова предсказала Солженицыну мгновенную всемирную славу и опасалась, выдержит ли он ее. Мотив испытания славой — один из важных в ахматовской поэзии: «<...> от счастья и славы / Безнадёжно дряхлеют сердца» («Вижу выцветший флаг над таможенной...», 1913), «<...> притащится слава / Погремушкой над ухом трещать» («Кое-как удалось различиться...», 1921); в 60-е годы сделан набросок: «Молились на ночь, чтобы вам / Вдруг не проснуться знаменитым»⁵, — возможно в прямой связи с этим разговором. «Славы не боится, — записала Ахматова. — Наверное, не знает, какая она страшная и что влечет за собой» (ЗК, с.253). «Пастернак не выдержал славы, — говорила она Солженицыну. — Выдержать славу очень трудно, в особенности позднюю». Александр Исаевич в ответ говорил о своих крепких нервах, о том, что он выдержал лагерь (ЛЧ, т.2, с.533); по другому свидетельству, возможно, менее достоверному, так как более позднему, сказал: «Я человек железный» (НГ, с.266). Вместе с тем Ахматова записала и потом передала Г.В.Глекину⁶ его слова: «Я только боялся сойти с ума в тюрьме» (ЗК, с.253). Мотив безумия — также важнейший в ахматовской поэзии, в частности в «Реквиеме», отсюда и внимание к нему в разговоре.

Появление в печати «Одного дня Ивана Денисовича» Анна Андреевна считала событием эпохальным, 16 ноября 1962 года, в день выхода 11-го номера «Нового мира» (о чем она еще не знала), говорила Л.Чуковской, что не уедет в Ленинград, пока не подержит его в руках: «Хочу убедиться, что новая эпоха настала» (ЛЧ, т.2, с.551). А позже, в марте 1964-го: «Счастлива, что дождала до Солженицына» (ЛЧ, т.3, с.187). Не только до его произведений — до появления такой личности. Восторженные оценки Солженицына-человека Чуковская фиксирует не раз: « — Све-то-носец! — сказала она торжественно и по складам. — Свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные камни. Строгий, слышит, что говорит.

(«Слышит себя», «слышит, что говорит» — это высокая похвала в ее устах). <...> О. Лидия Корнеевна, видели бы вы этого человека! Он непредставим. Его надо увидеть самого, в придачу к «Одному дню з/к». «<...> это человек поразительный, не только писатель». «Анна Андреевна снова о Солженицыне:

— Никогда не видывала подобного человека. Огромный человек» (ЛЧ, т.2, с.532-533, 551; т.3, с.27). «С яростью — иначе назвать не могу: именно с яростью — говорила об Ардове, который о Солженицыне отозвался презрительно» (ЛЧ, т.2, с.565), хотя в квартире писателя-юмориста (а потому, наверно, скептика) В.Е.Ардова и его жены Н.А.Ольшевской на Ордынке Ахматова жила чаще и дольше, чем у каких-либо других своих друзей. Жизнестойкость Солженицына воплощалась для Анны Андреевны в сохраненной молодости: «Ему 44 года <...>».



В Переделкине. 1967

Выглядит на 35. Лицо чистое, ясное. Спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости. С огромным достоинством и ясностью духа (АН, с.136). Отмечалась и интеллигентность Солженицына: «Александр Исаевич глубоко интеллигентный человек», и он «великолепно знает музыку» (НГ, с.266).

При этом Ахматова несколько не была настроена ему льстить. Возможно, она отвратила его от увлечения поэтическим творчеством. « — Он принес мне поэму. Она автобиографична. И спросил, стоит ли за нее бороться. Я сказала, что одного моего мнения недостаточно, пусть даст еще кому-нибудь. Он сказал, что ему достаточно моего мнения. Я сказала, что бороться за эту поэму не стоит» (НГ, с.266). Об этом писала в феврале 1963 года и Л.К.Чуковская, которой Ахматова передала слова автора поэмы: она «помогла мне все перенести, выжить, остаться живым». На свой вопрос о том, хороша ли поэма («не в смысле печатания»), ответ она «получила уклончивый. Не понравилась ей, что ли? — размышляла Лидия Корнеевна. — И она не хочет признаться из уважения к автору? Нет, на нее не похоже. Ведь бранила же она мне рассказ Солженицына «Случай на станции Кречетовка» (и, между прочим, совершенно зря)» (ЛЧ, т.3, с.28). Солженицын читал Ахматовой две из одиннадцати глав поэмы «Дороженька», которая осталась неопубликованной (ЛЧ, т.3, с.341). При первой встрече он также

читал ей свои стихи. На настойчивый вопрос Чуковской ответ был более определенным — негативным:

« — Уязвимы во многих отношениях, — уклонилась Анна Андреевна» (ЛЧ, т.2, с.533). Уклончивость ответа на вопрос о стихах Солженицына отметила и Н.А.Роскина. «Из стихов видно, что он любит природу», — сказала ей Ахматова (В, с.538).

Прямолинейный Солженицын в долгу не остался. О прочитанном ему «Реквиеме» он заявил: «Это была трагедия народа, а у вас — только трагедия матери и сына». Роскина пишет: «Она повторила мне эти слова со знакомым пожатием плеч и легкой гримасой» (там же). «Про мои стихи сказал не должное», — появилось в записной книжке (ЗК, с.253). Чуковская тоже писала, что «А.И.Солженицын, выслушав «Реквием», сказал Анне Андреевне: «Жаль, что в ваших стихах речь идет всего лишь об одной судьбе». А.А. сама рассказала мне об этих словах Александра Исаевича, дивясь им и не соглашаясь с ними. «Разве одною судьбою нельзя передать судьбу миллионов?» — говорила она. — «Разве «Эпилог» к «Реквиему» это уже не судьба миллионов» — говорила я. — «Да ведь и сам Солженицын «Одним днем з/к», «одною судьбой» изобразил многолетние судьбы миллионов». <...> Не согласившись сначала с Солженицыным, Ахматова впоследствии, по-видимому, все-таки приняла его слова во внимание: стихи, содержащие во втором четверостишии слова:

*И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки —*

включены были Анной Андреевной в «Реквием», я полагаю, как результат замечания, сделанного Солженицыным» (ЛЧ, т.2, с.562). То, что стало вступлением к «Реквиему» («Это было, когда улыбался...», 1940), ранее существовало в качестве самостоятельного стихотворения. Его включение в поэму-цикл вопреки отрицательному мнению Чуковской (ЛЧ, т.2, с.561), думается, было художественно оправданным и усилило народную тему «Реквиема», который был прочитан Солженицыну и без автоэпиграфа «Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, — / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был» из стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали...» (1961). Полностью «Реквием», до того хранившийся в памяти автора и его друзей, был зафиксирован в нескольких машинописных экземплярах только 8 декабря 1962 года (В, с.643; ЛЧ, т.2, с.560-561)⁷, после публикации лагерного рассказа Солженицына и явно не без влияния этого события. Появление эпиграфа Чуковская отметила как новость для нее, а в позднейшем сообщила, что посоветовала Ахматовой использовать эти строки для эпиграфа Л.З.Копелев (ЛЧ, т.2, с.561), благодаря которому та и познакомилась с Солженицыным. Так что Солженицын сыграл видную роль в творческой истории ахматовского «Реквиема». Исходил он, вследствие незнания многих текстов, все же из ограниченного представления об Ахматовой. В феврале 1963 года она говорила: « — А знаете, Александр Исаевич удивился, когда я сказала, что люблю Некрасова. Видимо, он представлял себе меня этакой чопорной дамой. <...> А Некрасова не любить

разве можно? Он так писал о пахаре, что нельзя было не рыдать» (ЛЧ, т.3, с.29). Но ошибка прозаика помогла поэту усилить одно из важнейших своих произведений.

Кстати, «дамой» Солженицын Ахматову действительно считал, только в более высоком смысле. Н.Д.Солженицына, жена писателя, сообщает: «Высота сводов, которые она (Ахматова. — С.К.) выстроила, и чистота воздуха внутри этих сводов всегда очень влекли А<лександра> И<саевича>. Он относился к ней как к высокой-высокой Даме русской поэзии. Даме с большой буквы»⁸.

В сентябре Ахматова ставила в один ряд три произведения о репрессиях — свой «Реквием», повесть Л.Чуковской «Софья Петровна» и «Один день з/к» (ЛЧ, т.2, с.536). Позже, уверовав в возможность опубликования «Реквиема» на родине, она стала принижать его разоблачительный пафос по сравнению с «Иваном Денисовичем» и даже стихами Б.Слуцкого на эту тему. Ее неправоту отмечал 9 декабря 1962 года в «Дневнике, которого я не веду» Ю.Г.Оксман. Он отговаривал Ахматову включать «Реквием» в состав ее нового сборника, полагая, что это может погубить всю книгу. «Их пафос, — писал Оксман об этих стихах, — перехлестывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. <...> Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию, чем ее «Реквием» (В, с.643). Ошибочное мнение Ахматовой о собственном творческом подвиге говорит, однако, о том, сколь велик был в ее глазах творческий подвиг А.И.Солженицына.

«Реквием» был отвергнут даже «Новым миром». Солженицын пробился в печать благодаря «верной догадке-предчувствию», что «к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев»⁹. Ахматова же в сентябре 1963-го говорила о главном редакторе «Нового мира»: « — Он переживает за смоленских крестьян, а я ему глубоко безразлична» (НГ, с.286)¹⁰.

Солженицын в 1962 году посещал Анну Андреевну неоднократно, подарил машинопись «Одного дня...» (НГ, с.266). 4 ноября были записаны слова Ахматовой: « — Я достаю свой сборник для Александра Исаевича» (ЛЧ, т.2, с.540). Очевидно, в том же ноябре она подобрала для него «9 стихотворений» (ЗК, с.262), включая цикл «Черепки» и миниатюрную диалогию «Из черных песен». Среди них преобладают антиталитаристские стихи, но диалогия — против идеи эмиграции, в стихотворении «Ты напрасно мне под ноги мечешь...» есть отзвук той же темы и строка «Ночь со мной и всегдашняя Русь» — *всегдашняя*: пророчица Ахматова интуитивно угадала исключительную важность этой темы для Солженицына, когда ее актуальности в отношении него еще ничто не предвещало. В заключительной миниатюре «Черепков» («Кому и когда говорила...») — некрасовский мотив («Музу засекали мою») опять-таки до того, как Солженицын узнал, что Ахматова любит Некрасова, и мотив сумасшествия в связи с темой репрессий («катор-

га сына сгноила»): «А мне в сумасшедшей палате / Валяться — великая честь», — что уже является чем-то вроде ответа на слова Солженицына о том, как он боялся сойти с ума. В 1963 году Ахматова включила его в списки тех, кому нужно дать текст «Поэмы без героя» (ЗК, с.279) и «Реквиема» (ЗК, с.304, 314; ЛЧ, т.3, с.18). В ее записную книжку кем-то был вписан рязанский адрес Александра Исаевича (ЗК, с.329). Под датой 27 июня (1963 года) Ахматова отметила, как в дневнике: «Вечером Солженицын с женой (9 час.)». 1 января 1964-го, перечисляя звонивших ей, записала: «Тел<ефон> от Твардовского и Солженицына», а в 1965-м в день Покрова: «Звонил S. Придет в понед<ельник>» (ЗК, с.377, 419, 677). В списке «Кому 7 стихотворений» стоит тоже «S» (ЗК, с.543): написав в 1963 году цикл «Полночные стихи. Семь стихотворений», Анна Андреевна среди первых его читателей видела для себя и Солженицына, хотя цикл отнюдь не антиталитарный, а лично-философический, впрочем, включающий и сравнение «Как вышедшие из тюрьмы», и слова о своем вынужденном поэтическом молчании: «<...> я, кому убийцей быть / Божественного слова предстояло <...>». Есть Солженицын и в списке «Кому дать книгу 65 <г.>», то есть итоговый ахматовский сборник «Бег времени» (ЗК, с.573, 574).

«О «Матрёнинном дворе» Анна Андреевна отозвалась высоко.

— Да... Удивительная вещь... Удивительно, как могли напечатать... Это страшнее «Ивана Денисовича»... Там можно все на культ личности спихнуть, а тут... Ведь у него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала и вдребезги... Мелочи тоже удивительные... Помните — черные брови старика, как два моста друг другу навстречу?.. Вы заметили: у него скамьи и табуретки бывают то живые, то мертвые... А тараканы под обоями шуршат? Запомнили? Как далекий шум океана! и обои ходят волнами... А какая замечательная страница, когда он вдруг видит Матрёну молодой... И всю деревню видит молодой, то есть такую, какая она была до всеобщего разорения... Заметили вы, что древняя, древнее всех, бабка над гробом Матрёны думает: «Надоело мне вас провожать». Вас — покойников, тех, кто моложе ее, кому бы еще жить да жить» (ЛЧ, т.3, с.16). 14 февраля 1963 года Ахматова и Г.В.Глекин «говорили, конечно же, о Солженицыне <...> и вдруг она сказала о себе: «Я та самая старуха из Солженицына, которая говорит, что ей надоело всех провожать на тот свет»¹¹. Подобные настроения встречаются в ее поэзии с начала 20-х годов: двустрочный набросок 1958 года «Непогребенных всех — я хоронила их, / Я всех оплакала, а кто меня оплачет?» кажется прямым предварением мыслей солженицынской старухи, хотя по содержанию гораздо шире. Имя Матрёны стало для Ахматовой как бы нарицательным. «Тоже Матрёна», — говорила она о матери Ники Николаевны Глен, у которой тогда жила в Москве (АН, с.22).

После появления «Матрёнина двора» столь пострадавшая от официальной критики Ахматова предсказала Солженицыну, что его скоро будут бранить, спросила, выдержит ли он, ведь это хуже, чем выдержать прокурора: «Если выдержали прокурора, нельзя быть уверен-

ным, что выдержите *это*» (ЛЧ, т.3, с.49). 8 ноября 1964-го, вскоре после снятия Хрущева, Ахматова вместе с Чуковской читала письмо ее отца Корнея Ивановича:

«В Союзе Писателей выступил Друзин и заявил, что пора призвать к ответу этих хрущевцев: Твардовского и Солженицына».

— Солженицына? — переспросила Анна Андреевна. — Еще бы, давно пора! Ведь это он призвал их к ответу. «Он весь как Божия гроза». С первого же дня я у него спрашивала, понимает ли он, что скоро его начнут терзать» (ЛЧ, т.3, с.248). Солженицын тогда ответил: «Конечно!» (ЛЧ, т.3, с.27).

Н.А.Роскина, назвав отношение Ахматовой к «Матренину двору» восторженным, добавляет: «Другие рассказы Солженицына понравились ей значительно меньше, «Для пользы дела» совсем не понравилось. Также и пьеса; о пьесе она сказала: «Какая-то средневековая». Но в общем, кажется, это был единственный современный советский прозаик, кроме Зощенко, который ее по-настоящему интересовал» (В, с.538). «Случай на станции Кречетовка» она сочла неправдивым рассказом, а его героя — «склеенным». Возражения Н.Н.Глен, говорившей, «что у нас такие люди были — искренне правдивые <...> и даже в большом количестве и повсюду» (ЛЧ, т.3, с.16), не убедили ее. «Анна Андреевна сердилась. Повторяла: «Не было таких людей. О таких в газетах сочиняют. Он его из бумаги склеил. От Солженицына мы другого ждем, только правды, а не этих выдуманных добродетелей» (ЛЧ, т.3, с.17). Надо отметить, что от Ахматовой доставалось и Льву Толстому, а Чехова она критиковала многократно.

Солженицын не сказал Анне Андреевне ни о том, что у него в 1950-е годы был рак (НГ, с.266), ни о своей работе над крупными произведениями. 17 октября 1963 года в Комарове Ахматова спросила Чуковскую, читала ли она «главы из романа — те, где говорится о свидании заключенных с женами. Я ответила: да, читала, — пишет Лидия Корнеевна. — В Москве, у его друзей.

— Почему же он мне не дал их, ни словечком о них не обмолвился? Он был у меня в Ленинграде. Я еще в самом начале нашего знакомства сразу прочла ему «Реквием». А он мне глав о том же самом не дал и даже не упомянул о них. Я так им всегда восхищалась, так счастлива, что до него дожила. За что же он меня обидел?» (ЛЧ, т.3, с.81). Ахматова повторяла свою жалобу на эту обиду (ЛЧ, т.3, с.82, 93-94), но слова «А я еще подумаю, прощать его или не прощать» произнесла «уже без горечи и не без юмора» (ЛЧ, т.3, с.82). Чуковская, пытаясь оправдать Солженицына, ссылаясь на тематические различия его и ахматовских произведений. Но в позднейших примечаниях к запискам об Ахматовой отметила: «Впоследствии А.Солженицын горько сожалел о своем промахе. «Я круто ошибся», — писал он в первом издании своих очерков литературной жизни «Бодался теленок с дубом» (Paris: YMCA-Press, 1975, с.261). Дело было в том, что Александр Исаевич заподозрил Ахматову в обычной «человеческой слабости» — «неспособности держать тайны...» и потому не дал «читать своих скрытых вещей, даже «Круга» — такому поэту! современнице! уж ей бы не дать?! — не смел. Так и умерла, ничего не прочтя» (ЛЧ, т.3, с.364).

Огорчило Ахматову и неучастие Солженицына в хлопотах об Иосифе Бродском (март 1964 года). Она привела слова К.Паустовского о том, что в «Одном дне Ивана Денисовича» «звучат антиинтеллигентские ноты», однако тут же их и опровергла, признав мнение Константина Георгиевича ошибочным. Ахматова сказала: «<...> наша интеллигенция приняла не меньше страданий, чем наш народ. Сам-то он, Солженицын, кто? — народ или интеллигенция? Разделение мнимое и никчемное. В особенности после ежовщины и войны» (ЛЧ, т.3, с.187-188).

Столь непростым и все же плодотворным было взаимодействие двух очень непохожих, но крупнейших и одинаково честных талантов.

Примечания

¹ Роскина Н. «Как будто прошаюсь снова...» // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 538. Далее этот сборник обозначается в тексте буквой В. Другие используемые сокращения: АА — Ахматова А. Сочинения: В 2 т. (Сост. и подг. текста М.М.Кралина. М., 1990; ЗК — Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). М.; Torino, 1996; НГ — Готхарт Н. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой // Вопр. лит. 1997. Вып. 2. АН — Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой: Из кн. «Конец первой половины XX века». М., 1989; ЛЧ — Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М., 1997. Т. 2-3.

² Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Очерки лит. жизни // Новый мир. 1991. № 8. С. 10.

³ Стихотворение «Все ушли, и никто не вернулся...», написанное или начатое в 30-е годы и восстановленное или дописанное в 1960-м, где есть строки: «Осквернили пречистое слово, / Растоптали священный глагол, / Чтоб с сиделками тридцать седьмого / Мыла я окровавленный пол».

⁴ См.: Лосневский И. Анна Всея Руси: Жизнеописание Анны Ахматовой. Харьков, 1996. С. 186-187.

⁵ «Вы через короткое время станете всемирно известным. Это тяжело. Я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это» — так передает ахматовские слова А.Г.Найман (АН, с.136). Н.А.Роскина сохранила их в другой редакции: «Понимаете ли вы, что через несколько дней вы будете самым знаменитым человеком в мире, и это. может быть, будет тяжелее всего, что вам пришлось пережить?» (В, с.538).

⁶ «Опять много говорили о Солженицыне. Он сам сказал ей, что больше всего боялся сойти с ума ТАМ» (Глекин Г. Встречи с Ахматовой: (Из дневниковых записей 1959-1966 годов) // Вопр.лит. 1997. Вып. 2. С. 312. Запись от 20 ноября 1962 года).

⁷ 16 декабря о том же писал в дневнике Г.Глекин, добавляя: «Академик Виноградов сказал об этом цикле, что он "народен"» (Глекин Г.В. Указ. соч. С. 312-313).

⁸ Солженицын Н.Д. Писатель должен быть силой объединяющей, а не разъединяющей / Беседа с К.Кедровым // Известия. 1992. 23 июля. № 168. С. 3.

⁹ Солженицын А. Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 6. С. 18. Н.С.Хрушев объявил А.Т.Твардовскому о разрешении печатать «Один день...» 20 октября (там же. С. 29), практически за неделю до знакомства Ахматовой и Солженицына.

¹⁰ Чуковская писала также: «В 1963 году в руки А.Г.Дементьева (заместителя Твардовского. — С.К.) попал «Реквием» Анны Ахматовой. Какова была его судьба внутри редакции, кто явился инициатором отвержения — какую роль сыграл тут «политический комиссар», как называет Дементьева Солженицын <...>, мне неизвестно» (ЛЧ, т.3, с.338).

¹¹ Глекин Г.В. Указ. соч. С. 313.

Лев Лосев

Поэзия и правда у Солженицына

1. «Как на самом деле»

Самый популярный и влиятельный русский писатель нашего времени А. И. Солженицын живет и работает в идиллическом уголке Вермонта. Дом Солженицына в Кавендише — это не только семейное обиталище и место работы писателя, это еще и издательство. Здесь под наблюдением автора, в основном, как я понимаю, членами его семьи, редактируются, набираются и корректируются тома его полного собрания сочинений, которые затем передаются издательству YMCA-Press в Париже для заключительной, полиграфической стадии и для продажи.

Издание собственных сочинений как семейное предприятие — старая русская традиция. Издательством занимались, например, энергичные жены Достоевского и Льва Толстого. Дело это только упростилось в наше время (для писателей-эмигрантов, разумеется) с появлением компактных и недорогих наборных машин, таких как компьютеры фирмы ИБМ, на которых набирают собрание сочинений Солженицына.

В новом издании собрания сочинений Солженицына даются справки о творческой истории публикуемых произведений, которыми сам автор сопровождает каждое из них. Эти уведомления читателю, написанные в открытой разговорной манере, объясняют, почему именно данный вариант той или иной вещи следует считать окончательным, наиболее отвечающим замыслу автора. Авторский контроль над предыдущими изданиями, рассказывает Солженицын, был ограничен, затруднен или вообще невозможен. В вещах, которые печатались или предназначались для печатания в Советском Союзе, делались некоторые уступки официальной редакции, устранялись или изменялись те места, которые могли спровоцировать советскую цензуру на крутые меры.

Вот пример такого послесловия, из второго тома собрания сочинений, к роману «В круге первом».

«Роман начат в ссылке в Кок-Терехе (Южный Казахстан), в 1955, 1-я редакция (96 глав) закончена в деревне Мильцево (Владимирская область) в 1957, 2-я и 3-я — в Рязани в 1958 (все уничтожены позже из конспиративных соображений). В 1962 сделана 4-я редакция, которую автор считал окончательной. Однако в 1963, после напечатания «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире»,

появилась мысль о возможной частичной публикации, были выбраны отдельные главы и предложены А. Т. Твардовскому. Дальше эта мысль привела к полному разбегу романа на главы, исключению вовсе невозможных, политическому смягчению остальных и таким образом составлению нового варианта романа (5-я редакция, 87 глав), где сменена была главная сюжетная линия: вместо «атомного», как было на самом деле, поставлен широкоизвестный советский сюжет тех лет — «измена» врача, передавшего лекарство на Запад. В этом виде обсуждался и принят «Новым миром» в июне 1964, но попытка публикации не удалась. Летом 1964 предпринята противоположная попытка (6-я редакция) — углубить и заострить в деталях вариант 87 глав. Осенью фотоленка с этим вариантом отправлена на Запад»¹.

Незамысловатые на первый взгляд справки, как эта, возможно, независимо от намерений автора, о многом говорят тем, кто изучает современный литературный процесс. Отчетливо выделяются три момента.

Во-первых, нас словно бы приглашают заглянуть на миг в мастерскую писателя — возможность, которой авторы не так уж часто радуют критиков. И мы сразу же обнаруживаем интересные вещи. Например, мы узнаем, что работа над «Кругом первым» растянулась ни много ни мало — на 23 года!

1955: начало.

1957: 1-я редакция, 96 глав.

1958: 2-я и 3-я редакции — 96 глав. Уничтожены.

1962: 4-я редакция — 96 глав, «окончательная».

1963: 5-я редакция — 87 глав, «смягченная».

1964: 6-я редакция — 87 глав, «углубленная и заостренная», опубликована на Западе»².

1978: 7-я редакция — 96 глав (1-2 тт. С.с.), «кое-что усовершеншил»¹.

На днях в газетах мелькнуло сообщение о литературной находке. В американских архивах обнаружили рукопись романа другого, не менее известного, чем Солженицын (и не меньшего моралиста, чем Солженицын), писателя, англичанина Грэма Грина. На вопрос журналистов Грэм Грин ответил, что он просто-напросто *забыл* о том, что когда-то закончил этот роман. Хотя Грин делит свои романы на серьезные и развлекательные и новонайденный «Десятый человек», видимо, принадлежит к последним, я думаю, мы можем использовать этот пример для иллюстрации двух полярно противоположных художественных ментальностей. Просто невозможно себе представить, чтобы Солженицын забыл что-то из им написанного. И дело не только в том, что в годы заключения он тренировал свою память, запоминая большие отрывки текста, которые слишком опасно было доверять бумаге. Дело, видимо, еще и в самой концепции литературного произведения — различной у Солженицына и у его западного коллеги. Для Солженицына его произведение не столько артефакт, который может быть доведен до некоего стандарта, считаемого совершенством, закончен и таким образом отчужден от творца, для Солженицына его произведение — это прежде всего его свидетельство об исторической реальности и



С К.И. Чуковским на его даче в Переделкине

суждение об этой реальности, и как таковое оно никогда не может быть окончательным, законченным. Ведь знание автора о свидетельствуемой реальности непрерывно пополняется, а суждение его уточняется, становится, как он верит, глубже и справедливее.

Похоже, что лаконично прокомментированная хронология литературной работы Солженицына недвусмысленно указывает на то, какую философию искусства он разделяет.

Второе указание, которое мы можем извлечь из справок-послесловий, относится к вопросу о политическом положении русского писателя, точнее, о его сложных взаимоотношениях с идеологической цензурой. Здесь имеется целый ряд проблем для такого социально-сознательного («ангажированного») писателя, как Солженицын. Какие жертвы можно принести цензуре ради того, чтобы получить доступ к читателю? В какой степени возможен компромисс и в какой степени уступки цензуре означают разрушение самого замысла, ядра произведения?

Глядя со стороны, литературный критик вправе поставить те же вопросы по-другому: какого рода структурные изменения происходят в самой художественной ткани произведения в результате авторских компромиссов и профилактической самоцензуры? Располагая свидетельством автора по этому поводу и двумя вариантами опубликованного произведения, из которых один соответствует авторскому замыслу, а другой есть результат компромисса, мы получаем возможность для сравнительного анализа.

В-третьих, читая солженицынские обращения к читателям, нельзя не обратить внимания на один мотив, который так или иначе присутствует в них. Мотив этот всегда возникает у Солженицына мимоходом, в форме констатации само собой разумеющегося, то есть отражает глубинную убежденность писателя. Мы уже цитировали послесловие к «Кругу первому», где, в частности, говорится: «...вместо «атомного», как было на самом деле, поставлен широкоизвестный советский сюжет тех лет — «измена» врача, передавшего лекарство на Запад» (курсив мой. — Л.Л.). Несколько лет спустя в послесло-

вии к новой полной публикации романа «Август Четырнадцатого» он сочтет нужным заметить:

«Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, — *подлинные*».

И далее:

«*Отец автора выведен почти под собственным именем, и семья матери доподлинно. Семья Харитоновых (Андреевых) и Архангородских, Варя — подлинные, Ободовский (Петр Акимович Пальчинский) — известное историческое лицо*».

Мы имеем дело с определенно выраженным эстетическим кредо. Вопрос, который столь многим художникам представлялся сложным, иногда мучительным, иногда неразрешимым, вопрос об отношении искусства к действительности, извечная в искусстве дихотомия *Dichtung* и *Wahrheit*, Солженицыным решается, по крайней мере для себя, крайне просто: описать с наивозможной точностью то, что было.

Проследить, насколько такая крайняя эстетическая позиция (чуть ли не натурализм!) соответствует реальной художественной практике автора, представляется весьма любопытным.

Я не берусь ответить исчерпывающе на эти вопросы. В первую очередь я хотел бы просто обратить на них внимание читателей Солженицына. Я также хочу в свете вышесказанного поделиться некоторыми наблюдениями, возникшими при параллельном чтении двух опубликованных версий романа.

2. Два «Круга первых»

Сравнивая два издания, мы прежде всего наталкиваемся на купюры и поправки, сделанные ради цензуры (в 1-м издании) и просто стилистические (во 2-м). За 23 года вырос опыт, стал строже литературный вкус автора. В старом варианте, например, при первом появлении Рубин описывался как «крупный мужчина с пышной бородой библейского пророка». В окончательном варианте говорится: «крупный мужчина с широкой чёрной бородой». Конечно, борода у Рубина ни на волосок не изменилась. Изменился литературный опыт автора: после четверти века работы в литературе его уже больше не привлекают красивые клише.

Что же касается «политического смягчения», то здесь мы видим, как изменяется ряд высказываний Нержина: то, что прежде было направлено против основ идеологии марксизма, в К-87 сужено до критики Сталина как вульгаризатора и искажителя чистых марксистских идей.

Однако самая большая неожиданность встречает читателя, знакомого с К-87, уже в первой главе К-96, так как мы обнаруживаем здесь, что существенным образом меняется сюжетная завязка романа — история преступления дипломата Иннокентия Володина.

Но об этом мы поговорим немного позже, а сей-

час я бы хотел напомнить вам, как построен этот роман, какое значение имеют в нем сюжетная линия Иннокентия Володина и тема литературного творчества. Только в этом свете мы сможем оценить кардинальные различия между К-87 и К-96.

«В круге первом» — один из самых композиционно продуманных романов в русской литературе. Именно через композицию романа, основанную на кругообразной схеме, выражается его основная идея — всеобщей связанности, причастности всех ко всему. Отсюда — симметрия всех сюжетных конструкций. Отсюда — обилие полемических диалогов (каждая точка зрения противопоставлена иной), как в романах Достоевского. Советский универсум, изображаемый в романе, имеет два полюса: Кремль и шарашка, — и все герои, все события распределяются по силовым линиям между этими двумя полюсами. (Поэтому, кстати сказать, в романе так много удачных встреч и совпадений: тоже, как у Достоевского.)

И только одна сюжетная линия кажется развивающейся независимо, слабо подтянутой к полюсам. Как раз линия, обеспечивающая фабульный толчок, завязку. Это — история Иннокентия.

Мотивировка фантастического поступка Иннокентия дана в самом начале романа так бегло, что мы почти не успеваем ее усвоить (К-87), или почти и вовсе не дана (К-96). Только в середине романа автор делает попытку дополнительной мотивировки (подробнее в К-96, где имеется глава о поездке к тверскому дядюшке). Но и возвращаясь к мотивированию отчаянного поступка, Солженицын делает это в бегло-описательной манере, совсем не в том ключе психологического реализма, в каком написаны все остальные страницы романа. И кончается сюжетная линия Иннокентия обрывом, в К-96 даже на неоконченном слове: «Почему любовь к родине надо распростра...?» В этой обособленности важной сюжетной линии от остальных плотно переплетенных линий романа есть особый символизм: ведь речь как раз идет о проявлении свободной воли в мире крайнего детерминизма, в мире подневольном. Но дело не только в этом.

Отметим еще одну особенность, выделяющую в романе образ Иннокентия и связанную с его развитием сюжетную линию: *литературность*. Иннокентий, т.е. «невинный» (значашее имя — подчеркнуто литературный прием!), появляется в московском мире романа со своим судом истории, словно с луны свалившийся, а точнее, приезжает из-за границы, как Чацкий, Безухов, Рудин, Мышкин, Ставрогин, т.е. как целый ряд героев русской литературы, которым в наших классических сюжетах отводилась роль «испытателей», катализаторов драмы.

Характерно, что процесс морального перерождения Иннокентия тоже объяснен только литературой: тем, что он вдруг начал читать книги и журналы «серебряного века», вспоминать литературные суждения матери, беседовать с дядюшкой о писателях и философах. Самой своей фактурой портрет Иннокентия значительно отличается от других персонажей: другие даны в подробных психологических зарисовках. Иннокентий — главным образом, через то, что он читал.

Выраженная таким образом идея спасения России

через обращение ее к высокой культуре очевидна. Дидактичность здесь почти не маскируется: иные страницы романа можно прямо воспринимать как идеологические лекции, иные — как рекомендательный список: что читать для прояснения исторического сознания.

3. Противостояние двух писателей

Но есть и другой аспект у сюжетной линии Иннокентия Володина. Рассказ Солженицына о духовно прозревшем чиновнике советского МИДа, о невинном государственном преступнике во многом связан со взглядами автора на литературу и ее роль в обществе, с его полемикой против советского литературного истеблишмента. Более того, рассматривая историю Иннокентия в контексте советской литературы описываемой эпохи (конец 40-х годов), мы начинаем понимать, что костяк всего сюжета романа (К-87) — литературная пародия.

Пародируется одно конкретное и широко известное в те дни литературное произведение, при этом автор пародируемой вещи узнаваемо отражен в романе и играет в нем весьма существенную роль.

Как мы уже отмечали, в основу своего романного метода Солженицын кладет «письмо с натуры»: «И сама «шарашка Марфино» и почти все ее обитатели списаны с натуры». Близость персонажей к прототипам так велика, что один из солженицынских прототипов, Д.Панин, даже озаглавил книгу собственных мемуаров «Записки Сологодина», как бы авторизуя тем самым свое изображение в романе. Как о живых людях и реальных событиях пишет о героях и перипетиях романа и другой его «персонаж», Л.Копелев (в романе — Рубин), в своей книге мемуаров «Утоли моя печали». Отнюдь не скрывает Солженицын и автопортретность образа Нержина. В «Бодался теленок с дубом» он приводит такую похвалу Твардовского по поводу К-87: «Хороша ирония в автопортрете, при самолюбованием себя написать нельзя»⁴.

Ни у кого из читателей, знакомых с русской литературой сталинской эпохи, не может возникнуть сомнения в том, что прототипом писателя Галахова в солженицынском романе послужил Константин Симонов, поэт, прозаик, драматург, журналист (предшественник Твардовского на посту редактора «Нового мира»), неоднократно лауреат сталинских премий, член ЦК партии и т.д., и т.п., а главное — один из очень немногих в сороковые годы советских писателей, чье официальное признание сочеталось с огромной массовой популярностью и даже с некоторой известностью за рубежом.

Солженицын делает многое, чтобы подчеркнуть реальную историчность своего изображения Москвы 1949 года, в частности в том, что касается литературной жизни столицы. Почти все упоминаемые писатели и произведения названы своими именами, не зашифрованы. Так, тупой генерал Фома Осколупов (персонаж) встречается с писателем Казакевичем (реальное лицо), который собирается «с него писать образ современного учёного» (К-96. I, 103); заключенные шарашки с отвращением рассматривают реально существовавшие книги — роман В.Ажаева «Далеко от Москвы», сборник военных



В Москве на квартире в Козицком пер. с женой Натальей Дмитриевной и сыном Ермолаем. Март 1972

рассказов Алексея Толстого, сборник рассказов американских писателей; гости у Макарыгиных (персонажи) обсуждают реальную московскую новинку 1949 года — пьесу Вишневецкого «Незабываемый 1919-ый» (К-96. II, 110-111); Галахов страшится реального критика Ермилова (в К-87 под псевдонимом Жабов!); и, хотя литературный этикет заставляет Солженицына оставаться в рамках *roman de clef* и не называть Галахова Симоновым, он, чтобы у читателя не оставалось сомнений по поводу идентификации этого персонажа, заставляет Галахова петь одну из известнейших симоновских песен, «От Москвы до Бреста...», и о портретном сходстве заботится: «Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько расплывшим лицом» (К-96. II, 94; К-87. II, 498).

В истории Галахова довольно точно отражена литературная биография Симонова, который в годы войны был «писателем, входившим в моду, фронтовым корреспондентом» (Л-96. II, 323), затем перепробовал, и с большим успехом, все основные литературные жанры и был многократно высочайше награжден (К-96. II, 98-99; К-87. II, 505). Подмечены черты симоновской прозы: его склонность писать о полководцах, имитировать стиль Льва Толстого (последнее в К-96 отсутствует: логично предположить, что элиминировано уже в окончательной редакции, когда автор понял, что не одному Симонову это свойственно).

Так возникает в романе одна из главных в нем сюжетных коллизий: противостояние двух писателей — конформиста и борца, лауреата Галахова и зека Нержина, а если говорить о прозрачных прототипах — Симонова и Солженицына.

Какие же линии протянуты от Галахова-Симонова к Нержину-Солженицыну? Ведь по фабуле романа их прямой встречи нет.

Прежде всего, двух писателей связывает *дом Макарыгиных*.

В образе этого дома, московской новостройки, предназначенной для партийной элиты, дается социальный разрез сталинской России. В нем фокусируется социальная несправедливость советского общества. Дом становится местом морального возрождения для одних и окончательного падения в бездну бездуховности для других. Всех обитателей и гостей этого дома можно распределить по шкале их притяния/непритяния советского концлагерного ада: чем более опалены они адским огнем ГУЛага, тем выше их место на шкале нравственности. Место Галахова в этой шкале — посередине. Он, вероятно, последний в ряду тех, кого смутно беспокоит отраженный отблеск нержинского ада, с него же начинается ряд тех, кто связывает свое благополучие с миром тирании.

Галахов, вместе с другими гостями Макарыгиных, ходит по полу, по которому ползал на коленях зек Нер-

жин, добросовестно настилавший этот паркет. Так, в главах пира у Макарыгиных (гл. 62-64) слышится отголосок слова «соцреализм», прозвучавшего из уст Нержина в начале романа: «И меня стала терзать, ну, просто добросовестность создателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят — значит халтурная настилка? И я бессилён исправить! <Рубин>: — Слушай, это драматический сюжет. — Для соцреализма» (К-96. I, 38).

В К-87 слова «соцреализм» нет. Эта рубинская трактовка обыкновенной для Нержина добросовестности как драматического сюжета в духе сентиментального советского доялизма (заклоченный, несправедливо обиженный, строит социализм) напоминает трактовку коммунистической критикой повести «Один день Ивана Денисовича». В этом и ощущает Нержин фальшь, «соцреализм». Рубин здесь, в широком плане, принадлежит к той же, что и Галахов, категории людей, оппортунистически предпочитающих не видеть действительности, старающихся оправдать ее. Так краткая реплика — «Для соцреализма» — дополнительно выявляет указанную нами тему оппозиции, тему пути, который избирает художник. Проясняется очень четкая парадигма:

Галахов: оппортунизм — благоденствие — творческая импотенция;

Нержин: идеализм — страдание — творчество.

Не случайно прототипом Галахова послужил Симонов, а не «писатель» из макарыгинского мира, вроде тех товарищей Галахова, большинство которых «ни за каким бессмертием не гналось, считая важнее своё сегодняшнее положение при жизни», чьи книги «издавались многонольными тиражами» (К-98. II, 99). Солженицыну нужен был пусть преуспевший, продавшийся, но *писатель*, потому что антиподом Нержина, гипотетической альтернативой его писательской судьбы не мог быть лит. чиновник, равнодушный халтурщик без проблеска таланта. (Интересное признание находим в солженицынских мемуарах: «Странно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили»⁵. Галахов «обременил и приземлил птицу своего бессмертия», но хоть немногие его стихи заучивались девушками, хоть какую-то правду он стремился писать: «<...> хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт её подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе — хоть что-нибудь лучше, чем ничего» (К-96. II, 99).

Изображая в мемуарах расправу, которую творили над ним секретари Союза писателей, Солженицын называет Симонова «полунаш». Особенно любопытно в контексте нашего анализа высказывание Симонова в записи Солженицына: «Роман “В круге первом” я не приемлю и против его печатания. (Ещё бы! — Л.Л.). А “Раковый корпус” — я за публикацию»⁶.

Как мы уже отметили, прямой встречи Галахова и Нержина в романе нет. Солженицын прибегает к интересному литературному приему, чтобы все же столкнуть их в диалоге. Для этого он заставляет Галахова и Иннокентия повторить спор, который четырем сотнями страниц раньше уже вели Нержин и Рубин.

(Рубин начинает, Нержин отвечает):

«... фронт! — нахлынул фронт! — и так живо, так

сладко... Слушай, в войне все-таки есть много хорошего, а?

— До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов, попадались нам иногда; очищение души, Soldatentrene...

— Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть-таки рациональное зерно...

— *Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: «Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно»* (К-96. I, 47).

Далее (Галахов начинает, Иннокентий отвечает):

«— Военная тема — врезана в сердце моё.

— Ну, ты же и создал в ней шедевры!

— И пожалуй, она для меня — вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

— А может — не надо?

— *Надо! Потому что война поднимает в душе человека...*» (К-96. II, 96).

Так Солженицын закрепляет в сознании читателя столь важную для него тему литературной полемики.

4. «Чужая тень»

Выступая на Секретариате Союза писателей, о котором мы уже говорили выше, Солженицын сказал: «...многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году»⁷. Среди тех, к кому он обращался, был, как мы знаем, Симонов. В 1949 году Симонов написал пьесу «Чужая тень».

Об этой пьесе даже апологетический советский критик Симонова И. Вишневская пишет так: «Очень типичная для своего времени, для него самого в то время, появляется в творчестве Симонова пьеса «Чужая тень» (1949). Вымученная, равнодушная, эта пьеса заражена духом подозрительности. Советские ученые неожиданно становились в этой пьесе шпионами, что не только не удивляло действующих лиц, но, напротив, давало им даже какое-то мрачное удовлетворение»⁸.

«Чужая тень» — типичное сочинение периода холодной войны, наряду с такими, как «Русский вопрос» (1947) того же Симонова, «Голос Америки» (1949) Б. Лавренина, «Массурийский вальс» (1949) Н. Погодина, «Заговор обреченных» (1949) Н. Вирты. Некоторые из этих пьес эксплуатировали мотивы нарастающего шовинизма и шпиономании, сюжеты о советских ученых-отщепенцах, продающих советские открытия на Запад. Это «Чужая тень», «Великая сила» (1947) Б. Ромашова, «Закон чести» (1948) А. Штейна.

Вкратце содержание «Чужой тени»⁹.

Профессор Трубников руководит бактериологическим институтом в одном из русских университетских центров. В декабре 1949 года, когда происходит действие, многолетний труд института по созданию вакцины против множества острионфекционных болезней, начиная с чумы, завершен. Остаются последние испытания, которые персонажи пьесы непременно хотя бы провести на себе. (Мотив такого подвига, самозаражения ученого чумой в экспериментальных целях встречается еще в ранней лирике Симонова:

*Он умер в тридцать лет, привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.)*

В этот момент в городе появляется другой микробиолог, московский профессор Окунев, который, играя на честолюбии Трубникова, уговаривает его отдать описание технологического процесса изготовления вакцины для передачи американским коллегам в порядке обмена научной информацией. Не успевает Трубников согласиться, как все окружающие восстают против него. Лекции о предательстве, о особничестве империализму читают профессору его сестра, его дочь, его друзья-сотрудники, а самый решительный — его шури́н Макеев, едет в Москву, чтобы перехватить материалы, не допустить их проникновения на Запад. Он, разумеется, преуспевает. Окунев, разоблаченный как шпион, стреляется. Трубников раскаивается, и ему высочайше разрешается продолжать работу. (В основе сюжета, видимо, лежит одно из инспирированных НКВД-КГБ «дел» — «дело» врачей Ключевой и Роскина, которые были обвинены в передаче разработанной ими вакцины на Запад.)

Созданная в период полного расцвета сталинизма, пьеса несла в себе черты сталинской мифологии, включая, конечно, полное обожествление вождя и даже элементы чудесного.

К последним относится, собственно говоря, завязка. Возможность создания вакцины «от всех болезней» только и могла серьезно обсуждаться в обществе, где биолог Лысенко основывал свои селекционерские опыты на классовой борьбе среди растений, академик Опарин по законам диалектического материализма выводил гомункулуса в прбирке, а академик Лепешинская открыла секрет вечной молодости в содовых ваннах.

Помимо сюжетной завязки в К-87 есть еще несколько существенных элементов, пародийно параллельных симоновским. В обоих произведениях существенную роль играет календарное время действия: на Рождество. Важнейшей деталью в интриге, Окунева у Симонова и Володина у Солженицына, является телефон. И Окунев, и Володин совершают свои преступные действия при помощи телефона.

Наконец, возможно, самая существенная из параллелей. Главный разоблачитель в «Чужой тени», Макеев, о своем осведомительстве говорит так: «<...> я принял некоторые меры, которые мне подсказала наша общая тревога. Я взял на себя ответственность ошибиться, считая, что пусть лучше я ошибусь и буду в трудном положении, чем останется хоть один процент возможности катастрофы» (С.501).

Это абсолютное неприятие в расчет личности, индивидуальной свободы при решении вопросов государственной безопасности аналогичным, «арифметическим» образом решается и у Солженицына. Причем солженицынский Абакумов и его подручные даже либеральнее в цифровом выражении, чем симоновский Макеев. Этот готов погубить человека даже при шансах 1:100, а те обсуждают возможность арестовать семь вместо одного (К-96. I, 102) и в конечном счете арестовывают двоих (действительно виноватого Володина и невинного Шевронка).

Пародийность использования Солженицыным симоновского сюжета состоит в том, что все его компоненты у Солженицына выворачиваются наизнанку. Теле-

фон, который для Окунева является эффективным средством конспирации, служит орудием слежки за Володиным. Новогоднюю елку у Симонова «как в добрые старые времена» приносит прямо из леса, у Солженицына — «согласовывают» с чиновниками МГБ.

5. Что же вышло

Трудно в рамках журнальной статьи продемонстрировать все существенные различия между «смягченным» и «полным» вариантами, между К-87 и К-96, поэтому просто суммируем наблюдения, показывая, что же меняется в узловых моментах.

Итак, первое различие мы открываем в том, что лежит, собственно, за пределами текста романа как такового, в источниках сюжетной завязки. В К-87 этот источник — пародируемый миф советской пропаганды — конкретно, популярная пьеса популярного советского писателя. В К-96 — это историческое событие большого значения: кража советскими агентами американских ядерных секретов. Следует отметить, что Солженицын не только свел воедино, как рассказывает Л.Копелев, несколько реальных случаев, когда русские люди пытались предупредить Запад об опасности, но, очевидно, на какой-то стадии работы, скорее всего в период подготовки 6-й редакции, использовал материалы нашумевшего в 1962 году дела Олега Пеньковского, советского дипломата-шпиона, который из идейных соображений начал сотрудничать с западными разведками; личные черты и основные моменты биографии Пеньковского удивительно совпадают с характеристикой и историей Володина в романе¹⁰.

Второе существенное различие относится уже непосредственно к завязке романа, а именно к мотивировке поступка И.Володина, дающего толчок цепной реакции событий. В К-87 мотивировка дана главным образом эмоциональная, интимная. Случайно узнав об опасности, грозящей доктору Доброумову, Иннокентий переживает комплекс глубоко интимных детских воспоминаний, периода тесной привязанности, «мира детской», в котором значительную роль играл доктор Доброумов (еще одно значимое имя рядом с именем Иннокентия; не случайно министр госбезопасности Абакумов говорит: «<...> позвонил одному профессору, фамилию не выговоришь...» (К-87. I, 106) — злодей и слуга мракобесия не в состоянии произнести слова «добро» и «ум»). Мотивировка поступка Володина в К-96 главным образом рациональная, моралистическая. Познакомившись с мировоззрением покойной матери и дяди, прочитав ряд книг и журналов, проанализировав свой собственный опыт, Иннокентий принимает решение глобально характера — спасти цивилизацию от атомной угрозы советского тоталитаризма.

Третье различие состоит в изменении характеристик ряда персонажей, которого потребовала меняющаяся логика сюжета. Так, например, в «смягченном» варианте, К-87, один из главных героев, Рубин, — сложная личность. В нем догматическая вера в социализм борется с природным гуманизмом, благородством характера. Вот как описывается в К-87 реакция Рубина,

когда он узнает, в чем состоит суть порученного ему дела (вместо защиты социализма — полицейская слежка):

«И лицо Рубина с каждой фразой теряло своё пригрозительное жёсткое выражение. Оно даже стало растерянным. Боже мой, это было совсем не то, это дикость была какая-то...» (К-87. I, 273).

Соответственно, Нержин так же разнообразен в своих отношениях к своему другу и постоянному оппоненту в идеологических спорах. В К-96 очевидность антисоциалистического преступления Иннокентия Володина такова, что идеалистический марксист Рубин полностью и без колебаний встает на службу государству. Вместо слов о растерянности и душевном смятении в К-96 реакция Рубина на поручение такова: «Он снова — в строю! Он снова — на защите Мировой Революции!» (К-96. I, 274). Соответственно, и Нержин по отношению к Рубину из оппонента-друга превращается в довольно-таки однолинейного идеологического оппонента.

И наконец, четвертое различие, которое я нахожу существенным. Аналогично изменению характеристик ряда персонажей, логика изменившегося сюжета потребовала определенных стилистических изменений. Изменений такого рода не слишком много, но они относятся к ключевым моментам в романе и довольно круто меняют его общую тональность.

Особенно ярко это иллюстрируется сравнением двух вариантов одного и того же пассажа в начале романа, где описывается момент принятия Иннокентием рокового решения. Иннокентий едет, чтобы позвонить американцам из телефона-автомата. Такси проезжает мимо здания МГБ на Лубянке. В «смягченном» варианте это дано так:

«<...>серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилэстров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночек Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля» (К-96. I, 15; в К-87 то же).

Иное дело в К-96. К процитированной метафоре пристраивается другая, противоположного характера: «Нет, не тянуло челноком — это он сам шёл на линкор — торпедой!» (там же). И далее образ человека-торпеды разворачивается: «Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние» (К-96. I, 16).

И еще — «Он будто делал круг на своей торпедке, разворачиваясь получше» (К-96. I, 15). Заметим, что «утлый челночек» — это не просто сентиментальный образ. Это образ, который в сознании русского читателя связывал героя Солженицына с определенной русской литературной традицией: изображение бунта маленького человека, чиновника против левифафа государства. В утлом челночке бросался наперекор разбушевавшейся «государственной» стихии первый бунтарь в этом ряду, «Евгений бедный», герой «Медного всадника» Пушкина. В К-96 ассоциативно богатый литературный образ уступает место плакатному герою-камикадзе.

* * *

Итак, что же произошло с романом «В круге первом» в результате самоцензуры, произведенной Солженицыным в 1963 году?

Приспосабливая роман к цензурным условиям, вводя вместо первоначального новый сюжет, Солженицын позаимствовал его у советской пропагандистской литературы. В процессе приспособления чуждого (симоновского) сюжета к своему роману Солженицын переосмыслил его в духе своего рода «обратной пародии»: малоправдоподобная мелодрама превратилась в весьма реальную трагедию. Благодаря введению этого чуждого сюжета прежде присутствовавший в романе эпизодический момент литературной полемики развернулся в важную сюжетную линию, несущую высокую философскую нагрузку: появилась дополнительная возможность представить конфликт художника с тоталитарным государством.

Далее, «смягчение» сюжета Солженицын понимал как смягчение мотивировки (то есть довольно механически). Можно представить себе такой ход рассуждений: подлинную историю о краже атомных секретов цензура ни на каких условиях не пропустит, придется заменить ее историей о добром поступке, который является все-навсего должностным преступлением.

Но такое «смягчение» завязки на деле привело к невероятному *обострению* сюжета, ибо драматичность сюжета литературного произведения зависит не от того, насколько значительно реальное событие, положенное в его основу, а от взаимоотношений самих элементов сюжета между собой. Это закон искусства. И в 1964 году Солженицын еще, видимо, не был готов его оспаривать, ибо, отправляя роман за границу, он «углубил и заострил», как сам пишет, именно вариант К-87.

Наконец, споры, вспыхнувшие среди тех (надо сказать, к сожалению, не очень многих читателей), кто прочел новую версию романа, имеют своим основанием две разные психологические модели в восприятии сюжета читателем, два, если угодно, различных типа катарсиса.

Упрощая, можно схематически нарисовать два типа сюжетов. В первом действие начинается с экстраординарного, исключительного события, поражающего воображение читателя. Во втором — события сравнительно незначительного.

В первом случае читателю трудно идентифицировать себя с центральными персонажами, участниками необычного события. Во втором — такая идентификация происходит почти автоматически.

В первом случае читательский интерес направляется на перипетию сюжета, так как чем экстраординарнее событие завязки, тем сложнее цепь объяснений и последствий. Во втором — читательский интерес связан с собственной эмоциональной вовлеченностью в действие.

Итак, если говорить о некоем эмоциональном качестве переживаемых катарсисов, то в первом случае катарсис в конечном счете сводится к решению рационально поставленной загадки, что является видом развлечения. Во втором — катарсис состоит в эмоциональном потрясении глубоко эмоционально вовлеченного читателя, что становится частью личного опыта, возможно, приводит к изменению в самой структуре личности читателя.

К первому типу сюжетов относятся, в наиболее «чи-

стом» проявлении, детективные, авантурные романы, которые обычно начинаются с того, что произошло какое-то невероятное убийство или шайка злодеев похитила водородную бомбу и Джеймс Бонд, агент 007, должен вернуть и т.д. и т.п. Ко второму типу сюжетов относятся «Медный всадник», «Шинель» Гоголя, даже романы Достоевского, где тайны и преступления отодвинуты на задний план, уступая истинную завязку общедоступным психологическим и социальным проблемам.

Возможна ли переделка сюжетов второго типа в сюжеты первого типа? Подумаем, что стало бы с русской классикой, если бы «Евгений бедный» погрозил бы не Медному всаднику, а здравствующему государю императору. И не кулаком, а бомбой. Или если бы Акакий Акакиевич задумал построить не шинель, а подпольную типографию. И не для себя, а для народного просвещения. (Между прочим, как мы знаем из творческой истории «Шинели», Гоголь работал над сюжетом как раз в обратном направлении: в первом замысле предметом мечтаний маленького чиновника была не обыкновенная шинель, а ружье — предмет роскоши, оружие).

Я не хочу сказать, что солженицынский К-96 по сравнению с К-87 превращается в авантурный роман. Слишком сложно это произведение, чтобы его могли погубить даже кардинальные изменения *одного* элемента сюжета. Как я и указывал в начале, во многих отношениях версия К-96 совершеннее, чем К-87. Ослабли лишь некоторые связи, некоторые линии в структуре романа.

Я хотел только продемонстрировать на этом примере, как порой писатель, незаметно для себя самого, будучи вынужден сопротивляться внешнему давлению, приходит к более эффективным художественным формам, чем это было бы в условиях, когда его письменный стол отделен от наборной машины только дверью и коридором.

Или, используя след за Солженицыным одну из метких пословиц русского народа:

Для того и волки в лесу, чтобы олени не дремали.

1986

Послесловие к старой статье

Нередко цитируют записанное в дневнике Л.К. Чуковской высказывание Ахматовой о Солженицыне: «Свето-но-сец! <...> Свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные камни. Слышит, что говорит»¹¹. Вот и С.С. Аверинцев юбилейную статью начал с этой цитаты¹². Меня, когда я прочитал это впервые, поразила ахматовский выбор странного на русский слух слова, «светоносец». Ведь «светоносец» — калька с латинского *Lucifer*, утренняя звезда, падший ангел, восставший демон¹³. Сознание Ахматовой было романтическим, в нем доминировали байронические, а еще глубже, мильтоновские архетипы. Ангел, восстающий против репрессивного миропорядка, изгнанник, изгой был центральным героем ее мифопоэтического мира. Так же и Набоков однажды странно

проговорился о себе в одном из немногих удавшихся ему стихотворений: «он когда-то был ангел, как вы». Видимо, гениальный писатель как свою метафизическую вину рассматривал отпадение от золотого века мифической родины. Но от чего отпал Солженицын? Против какой репрессивной системы он восстал? Представить себе дело таким образом, что он в юности верил в марксизм и замышлял в эпическом романе прославить социалистическую революцию, а в зрелом возрасте понял и разоблачил несправедливый советский строй, значит тривиализировать искусство Солженицына. Великий художник велик потому, что изображает и судит свое время *sub specie aeternitatis*, хотя из трагических «форм вечности» для каждого центрального одна: для Достоевского — умонепостижимый Бог, для Чехова — время, для Толстого — смерть. Для Солженицына — правда.

Есть такое понятие: «политическое животное». Вообще-то, это выражение не уничижительного характера, а обозначение человека, инстинктивно ориентирующегося в политической обстановке. Но в России эта метафора однажды материализовалась. Солженицын с думской трибуны говорил, как он всегда говорит, правду, и в свете правды весь мир увидел его аудиторию — кто почесывался, кто копался в ноздре, иные позевывали, спящие похрюкивали. К кому он обращался? Неужели он полагал, что хапуги и честолюбцы услышат его здравые соображения об устройстве подлинного народовластия, проникнутся его заботой о благе простого человека? Глядя на него на думской трибуне, слушающая телевизионные монологи (пока правительство не щелкнуло выключателем так же, как раньше Горбачев выключал микрофон Сахарова), становилось понятно, что обращается он к правде, к истине.

Но что есть правда и «что есть истина?» В правдосправедливости политической философии Солженицына разобратся нетрудно: ее критерием является не фантом (или, как теперь принято говорить, симулякр) государства, а человек — достойное существование человека, семьи, общины, народа. Солженицына принято упрекать в том, что, прожив два десятка лет в Америке, он был совершенно отгорожен от американской жизни. Это и при желании было бы очень трудно, когда платишь налоги федеральному правительству, штату Вермонт, в казну городка Кавендиш. Когда всякий раз, выезжая из дома, видишь, как твои денежки летом ремонтируют дорогу, зимой расчищают снег. Возвращаются из школы дети, рассказывают, с кем подружились, с кем подрались, почему в школе куплена новая форма для школьной команды, а на инструменты для оркестра, допустим, Кавендиш не раскошелится. С соседями надо объясниться по поводу строительства забора, чтобы не обижались... Структуры повседневной жизни в новоанглийской глуши, в колыбели американского самоуправления, познаются опытом собственного бытия. Если вы прочтаете параллельно «Как нам обустроить Россию» и «Демократию в Америке» де Токвиля, то увидите, что у Солженицына по существу речь идет о том, чтобы жители рязанщины жили, как вермонтцы. Не потому, что американская форма общественной жизни лишена недостатков, а просто потому, что ничего лучше, чем де-

мократия, выстроенная снизу вверх, людям для совместного житья не придумать.

Как художник Солженицын ставит вопросы экзистенциального выбора, который не так прост, как выбор социально-политической системы. Как должен поступить человек перед лицом истории? перед лицом тотального насилия? перед лицом смерти?

Небудучи профессиональным литературным критиком, я как читатель всегда пытался разобраться, в чем же тайна мощного впечатления, которое оставляли в моем сознании вещи Солженицына. Из этих попыток возникли в разное время три статьи, с одной из которых «Литературное обозрение» решило познакомить своих читателей. До нее я написал и напечатал в журнале «Континент» (№ 42. 1984) «Великолепное будущее России», развернутый отклик на окончательную редакцию первой книги «Красное Колесо» — «Август Четырнадцатого». Старый вариант «Августа» я читал еще в России, в самиздате, и от него у меня навсегда осталось одно загадочное переживание — уверенное чувство, память, что я не прочитал это, а *присутствовал*, когда ранним утром Лев Толстой ходит по прямоугольному периметру росистой поляны, рассуждая сам с собой: «Нет, только добром». Я не без опаски начал читать новый, сильно разросшийся по сравнению со старым, «Август» и был совершенно захвачен его поэзией истории: «История — иррациональна, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань», — говорит студентам московский философ в пивной (гл. 42). Результатом моих восторженных рассуждений в «Континенте» стал самый большой скандал, в который я когда-либо попадал. После того, как фрагменты статьи были прочитаны в программе радио «Свобода», трое сотрудников радиостанции — Ройтман, Белоцерковский и Цицилев — накатали доносы в разные инстанции, вплоть до конгресса США, что я пропагандирую антисемитизм Солженицына. (Как сказал один из моих защитников, поэт Наум Коржавин: «Эти люди при каждом случае используют жупел антисемитизма, потому что обладают всеми теми качествами, которые антисемиты обычно приписывают евреям».) Кажется, вся европейская и американская проза писала об этой истории. Из корреспонденции в одном английском журнале даже можно было заключить, что во время второй мировой войны я служил в украинско-немецкой дивизии «Галчина—СС». Правда, в следующем номере журнал напечатал мое разъяснение, что этого никак не могло быть, поскольку а) я еврей и б) в годы войны мне было от четырех до семи лет. Конгресс США назначил специальное расследование, и к чести конгрессменов надо сказать, что ничего антисемитского они у меня и, уж конечно, у Солженицына не обнаружили. Чтобы для себя разобраться в литературном аспекте этой проблемы, я написал другую небольшую работу «Евреи у Солженицына» («Стрелец». 1989. № 1).

Публикуемая выше статья, подобно статье об «Августе Четырнадцатого», тоже была написана в связи с выходом в свет другого варианта ранее читанного романа «В круге первом». Я тогда закончил книгу, в которой пытался обсуждать влияние советской цензуры на творчество писателей не то чтобы «без гнева и при-

страстия» (идеологическая цензура — всегда свинство), но как данность, которая иногда, парадоксальным образом, может даже использоваться талантливым автором для усиления художественного эффекта. То, что я написал о разных редакциях «Круга первого», было развитием той же темы.

Я не поправил, перечитав, старую статью. В общем, мне кажется сказанное в ней небезосновательным. Но я хочу привести мнение человека, не согласившегося с моими рассуждениями. Дело в том, что на протяжении полутора десятилетий я жил неподалеку от Солженицына. Километров сорок от моего городка до Кавендиша. И ни разу Солженицына не видел. Как-то так получалось, что когда он изредка приезжал в наш колледж, я был в отъезде. Специально встречи не искал — зачем? А вот с Натальей Дмитриевной Солженицыной мы время от времени встречались — на колледжских мероприятиях, в поликлинике, в магазине. Иногда она звонила и мы подолгу разговаривали о всякой всячине, в том числе и о моих писаниях. Статья про «Август» ей понравилась, а про «Круг» нет. Суть ее возражений была в том, что в «атомном» варианте нравственный выбор Иннокентия Володина значительно труднее. Одно дело рискнуть всем ради спасения ни в чем не повинного доброго человека, другое — совершить поступок, который при любых режимах расценивался бы как предательство. Самые трагические жизненные ситуации, говорила Наташа, когда нет возможности отвернуться от злого и выбрать доброе, а когда выход только... И тут она складывала руки лодочкой, как для ныряния или для молитвы, как будто поступок, подобный володинскому выбору истины, и есть голову очертя ныряние вверх. Странно, что мне запомнился этот жест, ведь мы разговаривали по телефону.

Лев Лосев
Hanover, New Hampshire. 17 декабря 1998 г.

Примечания

¹ Мы обозначим, как это уже вошло в практику пишущих о Солженицыне критиков, две основные версии романа как К-96 и К-87.

² Солженицын А. Собрание сочинений, тт. 3, 4. Франкфурт-на-Майне: Posev-Verlag, 1971 (К-87).

³ Солженицын А. Собрание сочинений, тт. 1, 2. Vermont-Paris: YMCA-Press, 1978 (К-96).

⁴ Солженицын А. Бодался телёнок с дубом. Париж: YMCA-Press, 1975. С. 88.

⁵ Там же. С. 7.

⁶ Там же. С. 7.

⁷ Там же. С. 496.

⁸ Вишневская И. Константин Симонов. Очерк творчества. М.: Сов. писатель, 1966. С. 111.

⁹ Симонов К. Пьесы. М.: Сов. писатель, 1950. С. 407-507. В собрание сочинений Симонова эта пьеса не включена.

¹⁰ См.: Oleg Penkovsky, The Penkovsky Papers. Garden City, New York: Doubleday, 1966.

¹¹ Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М.: Согласие, 1997. С. 532.

¹² См.: Общая газета. 1998. № 49. С. 8.

¹³ См. статью «Люцифер» в словаре «Мифы народов мира», написанную С.С.Аверинцевым.

Лидия Колобаева

«Крохотки»

Среди известных в литературе нашего столетия миниатур — лирических медитаций И. Бунина, рассказов-«снов» А. Ремизова, «разноцветных камешков», замет ума и сердца В. Солоухина, лирических элегий Ю. Куранова — «крохотки» А. И. Солженицына, как и все и всегда у него, на особицу. Автор их отделяет себя от известного ряда уже самим названием — «крохотки», отделяет без вызова и гордыни, но просто по осознанию особенности своих малых детищ. В самом деле, вяжется ли слово «миниатюра», ассоциирующееся в нашем сознании с чем-то изысканным, фарфорово-хрупким, а то и чуть жеманным, с голосом солженицынских рассказов, что поднимается из толщи русской истории, звенит набатом общей, национальной беды, как в «Колоколе Углича», «Колокольне» или «Позоре». И все-таки «крохотки» Солженицына, как малые дети, для писателя, может быть, самое близкое и родное, в них — то, отчего шемит сердце неотступной тревогой, волнением, но и надеждой.

Со свойственной ему сдержанностью Солженицын открывает свои заветные думы — о свободе, о боли России, о радости жить и дышать, об освобождении от страха смерти, о красоте и творчестве. Нельзя не почувствовать, что какими-то кровными и интимными нитями его «крохотки» связаны с родной землей. Недаром в качестве эпиграфа к новым «крохоткам», опубликованным в 1997 г., взяты слова А. И. Солженицына из его письма в «Новый мир»: «Только вернувшись в Россию, я оказался способен снова их писать, там — не мог...»¹ (выделено А. И. Солженицыным. — Л. К.).

И еще: в «крохотках» с особой непосредственностью обнаруживается свойство всего творческого видения мира, присущее Солженицыну и связанное с его поистине уникальным духовным опытом, накопленным за его жизнь, — страдальную, тяжкую, праведнически высокую и чудом для нас спасенную. Можно сказать почти без преувеличения, это опыт смерти и Воскресения. Мы знаем, что за ним стоит испытанный писателем ад советской каторги и пережитая им приговоренность к раковой смерти, о чем он вспоминает, в частности, в «крохотке» «Старение».

Этот опыт придает всему творческому материалу Солженицына неповторимые очертания. Видны они и во всех его «крохотках»: давних, конца 50-х — начала 60-х гг., и новых, опубликованных в «Новом мире» в прошлом году. — «Лиственница», «Молния», «Колокол Углича», «Колокольня», «Старение», «Позор», «Лихое зелье», «Утро», «Завеса»².

Побывавшему за чертой и вновь вернувшемуся к земной жизни, как никому другому, дано с небывалой остротой, словно впервые, ощутить сладость жизни в ее простейших, первичных и фундаментальных радостях, как радость дышать:

«Я стою под яблоней отцветающей — и дышу³. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя — и нет названия тому сладкому духу, который напаяет воздух. Я его втягиваю всеми легкими, ощущаю аромат всю грудь, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми — не знаю, как лучше.

Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, как дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоённого цветением, сыростью, свежестью» («Дыхание»).

Чувство наслаждения жизнью передано здесь с обжигающей непосредственностью — в образных радостях каждого вздоха, усиленных словесными повторами — «дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми», «этого воздуха, этого воздуха», «дышать так, как дышать здесь», выливающих в конце концов в некую целостную картину — дыхания как символа в о л и, высшей, ни с чем не сравнимой ценности мира.

Тяготы возврата к жизни после катастрофы возмещаются писателю даром удвоенного зрения, умноженной остроты чувств. Пейзажные образы яблони в цветах, источающих «сладкий дух» трав, «воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью», вызывают в нас ассоциации с памятными картинами природы у Бунина, со свойственным ему ликующим чувством полноты жизни в напряженные ее моменты. Однако в «Дыхании» Солженицына пейзаж иной: здесь нет и не может быть бунинской пейзажной нарядности, природной роскоши. Чувство красоты земли рождается скорее изнутри, идет от повышенной обостренности восприятий, возникает даже вопреки бедности реального «материала»: «Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей».

Так оживает та «крохотка» души, с каплей надежды, что дает силы герою сделать шаг навстречу жизни: «Пока можно ещё дышать после дождя под яблоней — можно ещё и пожить!»

Подобное восприятие жизни как вернувшегося дара, в разных своих оттенках и гранях, раскрывается в «Вязовом бревне» образом нежданно проклюнувшегося свежего ростка из бревна, символом неодолимости жизненного начала, или в рассказе «Гроза в горах», проникнутом авторским ощущением благодарной

причастности человека к прекрасному и грозному миру, словно бы застигнутому в миг его творения («*Стрелами Саваофа* молнии падали сверху в Хребет, и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы или поражая и разбрызгивая там что *живое*»), или в «крохотке» «Утенок», где беззащитный, «жалкенький жёлтенький утенок» увиден писателем в неизъяснимом превосходстве — превосходстве чуда естественной, органической жизни над всеми ее возможными механическими, «смонтированными» подобиями, которыми без меры гордится человек XX века. «А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся — за двадцать минут целый мир перепашем.

Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького желтенького утенка...»

Этот крошечный утенок у Солженицына — предостережение высокомерию современного технизированного сознания. И он, этот милый сердцу художника комочек трепетной жизни, несомненно сродни образу есенинского жеребенка из «Сорокоуста», уступающего в беге стальной коню, но единственно прекрасного. И как творческая неизбежность, уже прямо, не в подтексте, возникает в раннем цикле «крохоток» тень поэта — «На родине Есенина». Талант поэта видится автору рассказа таинственным началом, «небесным огнем», что вспыхивает в человеке не в согласии с повседневной реальностью, а наперекор ей, в споре с ее убогим однообразием, скудостью, некрасивостью, мотивы которых выделяются в изображении села Константинова. «Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясённый, нашел столько для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей — красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..»

Опыт «воскресшего» сообщает писателю необычайный ракурс видения людей и вещей, иной раз резко остранный, словно бы инопланетный, позволяющий под новым углом зрения заметить нелепости, абсурд человеческой жизни, в особенности — советской. Выразительны в этом отношении «крохотки» «Способ двигаться» и «Приступая ко дню». В первой — ироническая насмешка над современным способом передвижения, гротескный образ нашего всеобщего любимца, автомобиля — «безобразнейшего из творений Земли, на резиновых быстрых лапах, с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатого железным ящиком». Он-то и вызывает неутешительное обобщающее заключение: «Что ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться». Во второй же «крохотке» «Приступая ко дню» запечатлен неприглядный взгляд на физзарядку, исполняемую молодцами с таким усердием, словно «они молятся».

В центре «крохотки», как всегда, — всего лишь одно мгновение жизни, маленькая картинка, которая в силу остранный изображения («На восходе солнца выбежало тридцать молодых на поляну, расставились вразрядку все лицом к солнцу, и стали нагибать-

ся, приседая, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, запрокидываться с колен. И так — четверть часа») вырастает в знак всеобщего, в символ нашей цивилизации, которая «служит терпеливо и внимательно телу своему», но не духу.

Неслучайно, подготавливая ироническое сближение зарядки с «молитвой», данное в концовке («Нет, это не молитва. Это зарядка»), художник описание зарядки дает в высоком стилевом ключе: «все лицом к солнцу», «ложиться ниц», «простирать», «воздевать руки».

Принцип укрупнения мгновения жизни, уродливого или прекрасного, из которого, как из тугого бутона, разворачивается целостная ивершенная, но лапидарнейшая картина, — принцип, изначально присущий жанру рассказа, но доведенный до предельной лаконичности, — основа «крохоток» Солженицына, давних и нынешних. В «крохотках» 58-60-го годов — и в этом их отличие от поздних — обнаженнее обозначены волнующие писателя социальные темы. В рассказах же последних лет все отчетливее выдвигаются на первый план вопросы всечеловеческие, философские. Конечно, они возникали и раньше. Это были раздумья о сути красоты, о свободе, о вере и безверии, о смерти («Озеро Сегден», «Путешествие вдоль Оки», «Мы-то не умрем!» и др.). Но они, эти проблемы, всегда тесно, иной раз напрямую, сопрягались с социальными узлами жизни, жизни под прессом «земной власти», тогда тоталитарной.

Начальной внутренней опорой художнику было не оставлявшее его чувство красоты природного мира, залог веры в высшие начала бытия. Солженицынское чувство прекрасного питалось глубинно народными, национальными представлениями. Перечтем еще раз отрывок из рассказа «Озеро Сегден»: «Сегденское озеро — круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега (но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили) — до другого только эхо размытое дойдет. *Обомкнуто* озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. Вышедшему к воде, видна тебе вся *окружность* замкнутого берега: где жёлтая полоска песка, где серый камышок ошестинился, где зелёная мурава легла. Вода *ровная-ровная, гладкая* без ряби, кой-где у берега в ряске, а то прозрачная *белая* — и *белое* дно.

Замкнутая вода. Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, *небо* — в озеро. И есть ли ещё что на земле — *неведомо*, поверх леса — не видно. А если что и есть — оно сюда не нужно, *лишнее*».

Здесь ощутимо близкое к народному представление о красоте как о чем-то *круглом*, снимающем все острые углы, *ровном и гладком* (вспомним символику «круглого» в образе Платона Каратаева в «Войне и мире» Л. Толстого). И что особенно важно, природная картина в этом рассказе расстилается не только вширь, *идаль*, но и *ввысь*, улавливает нерасторжимую связь земли (озера) и неба: «Озеро в небо смотрит, небо — в озеро». Другими словами, взор художника охватывает картину мира как целостность, что свойственно национальному русскому духу в его высших устремлениях.

Еще И. Бунин, выводя образ праведника в расска-



С Генрихом Бёллем сразу после высылки из СССР.
Февраль 1974

зе «Лирник Родион», удивляясь его гармоничности, замечал о своем герое: он — «сын народа, не отделяющего земли от неба».

А.И. Солженицыну органически близка такая именно красота, подобное ее понимание: «Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между *водой и небом* струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли». «Озеро пустынное. Милое озеро. Родина...» — такова концовка рассказа.

Но радость созерцания красоты мира омрачается в рассказе неизбежной тревогой. К озеру «заложены все дороги <...>, как к волшебному замку; над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черточка». Неустранимо встает вопрос о свободе и «земной власти», власти, которая, подобно «лютому князю, злодею косоглазому» из страшной сказки, присвоила себе красоту, сделал ее недоступной всем другим людям: «Там, за лесами, горбит и тянет вся окружающая область. А сюда, чтоб никто не мешал им. — закрыты дороги <...>». Это написано в конце 1950-х годов, когда вопрос о свободе и «земной власти», ее отнимающей, был для писателя самым жутчим.

В «крохотках» 90-х художественная мысль автора, не теряя своей обобщающей энергии, предельно уплотняется, сжимаясь порой до объема стихотворения в прозе, но, как правило, не перенимая его лирической природы. Замысел художника достигает своей цели, укладываясь в рассказ из пятнадцати-двадцати строк, в рассказ-афоризм («Лиственница», «Лихое зелье», «Молния», «Утро» и др.). Это удается благодаря тому, что писатель искусно вводит кратчайший миг, «молнию» жизни в «большое время», будь то вековое время истории («восьмой век» города Калязина и полвека рукотворного советского потопа в рассказе «Колокольня», «тристелетный срок» ссылки колокола в «Колоколе Углича» или время одной человеческой жизни в ее целостном опыте, как в «Старении» и т.п.).

В крохотных рассказах последнего времени совершеннее выражена связь между конкретной, малой подробностью, которая становится ядром повествования, и скрывающимся в ней всеохватно обобщающим, символическим (или аллегорическим) смыслом, национально-историческим или общефилософским. Причем ключевая образная деталь освещает подобные всеобщие смыслы тем ярче и выпуклее, чем ошутимее в ней проглядывает связь с личностью автора, его биографией.

Глубоко символичен рассказ об углическом колоколе, героем которого выбран колокол-изгнанник, испытавший «диковинное наказание» — ссылку в Сибирь, ту судьбу, что была столь драматически значимой в истории России, как и в жизни художника. Так ведь и творится подлинная символическая глубина искусства — чутьем в выборе вещного, конкретного, предметного образа, со дна которого поднимаются расходящиеся широкими кругами ассоциации. Подобная безошибочность выбора Солженицына оплачена горьким опытом личной причастности к драмам отечественной истории. Потому таким живым и родным кажется нам в рассказе «Колокол Углича» его необычный герой, тот колокол, триста лет назад своим набатным звоном высказавший народное возмущение убийством царевича Димитрия и возвестивший начало «великой Беды», Смутного времени. «Кто из нас не слышал об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того — битом плетьюми, а ещё и посланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, — и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане — сверх тех двухсот, уже казненных за растерзанье *государевых людей* (убийц малого царевича), и тех — с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе» (курсив А.И. Солженицына. — Л.К.). Так естественны здесь приемы очеловечивания колокола, «лишённого и языка и одной проушины», «битого плетьюми», подобного «наказанным угличанам».

В этой, как и в других «крохотках», полнота художественного впечатления достигается сопоставлением истории и современности, когда прошлое раздаётся голосом «провидческой тревоги народной», необ-

ходимым напоминанием о знаниях и умениях «предков», обо всем «лучшем» в их «понимании жизни» («Путешествуя вдоль Оки»). Полнозвучием художественных красок передан в рассказе образ «дивного гула» вернувшегося на родину колокола.

Завершая повествование рассказом о том, что ему самому удалось ударить в углический колокол, писатель видит в этом символическое предначертание, знак длящейся в наши дни Третьей Смуты: «Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол — где-то в длении, в тлении Смуты Третьей». Так история, по Солженицыну, сама отликает формы символа, неумолкающей легенды.

Образы колокола, колокольни, колоколенки становятся в «крохотках» их символическим лейтмотивом, исполненным многозвучных смысловых оттенков. Так, в «Колоколе Углича», как мы видели, это голос правды, негодующей совести, возмущения несправедливостью и насилием, знак народной тревоги, обращенной не только к прошлому, но к настоящему и будущему. В рассказе «Путешествуя вдоль Оки» колокольня — символ объединяющего людей и умиротворяющего духа: «Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он — в церквях. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точёными, резными поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью — они издали издали кивают друг другу, они из сел разоблённых, друг другу невидимых, поднимаются к *единому* небу. И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, — никогда ты не *один* <...>».

Прямым укором современникам звучит финал рассказа, повествующий о разрушении и запустении церквей: «В эти камни, в *колоколенки* эти, наши предки вложили всё своё лучшее, всё своё понимание жизни.

Ковырай, Витька, долбай, не жалей! Кино будет в шесть, танцы в восемь...» Сам уродливый, чужой для автора, режущий слух словарь — «Ковырай, долбай», — звучащий диссонансом к умиротворяющему пейзажу, свидетельствует о жесткой авторской оценке длящегося в нашей жизни варварства.

Колокольня в одноименном рассказе — символ катастрофического пренебрежения к корням культуры. Образ калязинской колокольни вырастает, в воображении и в реальности, из глубины веков: «Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своем восьмом веку будет, невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге <...>».

Впечатление времени, уходящего в бесконечность, создается в произведении введением в него легенд из прошлого, истории — российской и мировой. Это образы Китежа и Атлантиды, сказочного города и легендарного материка, бесследно ис-

чезнувших с лица земли, утонувших на дне тысячелетий, но оставивших нетленную память: «И сегодня, стань на прибрежной грани, — даже воображению твоему уже не подъять из хляби этот изневольный Китеж или Атлантиду, ушедшую на дюжину саженной глубины».

Образ полузатопленной колокольни в рассказе — это тихий, молчаливый вызов непробиваемому равнодушию, затопившему мир советских людей: «...шлепают волны по белым стенам, и с палуб уже *пятьдесят лет* *глазуют советские пассажиры*».

Но «высокостройная колокольня», продолжавшая — «каким чудом?» — стоять в воде, «не покаясь, не искривясь», — это и символическое воплощение неодолимости человеческого духа, идущей от веры древности и от ее мудрых легенд: «<...> для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как *наша надежда*. Как наша молитва: нет, в с ю Русь до конца не попустит Господь утопить...» (Разрядка А.И. Солженицына. — Л.К.). Поддержку своим надеждам писатель находит не только в историческом прошлом России, но и в живых голосах современности, прежде всего в тех «щедродушных, родных людях», которых Солженицын увидел и принял сердцем в первую же свою встречу с Россией, после возвращения на родину.

«Листаешь, листаешь глубь нашей истории, ищешь ободрения в образах. Но и знаешь неумолимую правду: бывало и вовсе гибли народы земные. Это — бывало.

Нет, другая глубь — той четверть-сотни областей, где побыл я, — вот та дышит мне надеждой: там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедродушных, родных людей. Неужель не прорвут они эту черту обречённости? Прорвут! ещё — в силах».

Как нельзя более подходит к миру, запечатленному в «крохотках», тон авторской речи, ее интонации, словарь. Это тон благородной прямоты, сдержанности, сострадания «затопленным», негодующей иронии к перекраивающим землю «ради нашего будущего» и, наконец, величественная интонация надежды. Вполне органична здесь торжественность сложных составных определений: колокольня «высокостройная», «ветка густошумящая», люди «щедродушные», — в духе определений, излюбленных поэтами «серебряного века», Вяч. Ивановым, А. Белым, К. Бальмонтом и др.

Необычный стилиевой колорит прозы Солженицына создается его особым словарем, в котором нередко ощутим запах старины, в удивительном его сочетании с подвижностью речевых форм, новизной слов, придуманных писателем или видоизмененных⁴. Измененных с целью оживить, освежить дремлющий в корне слова «внутренний образ». Так, автор «крохоток» вместо «запустение» скажет — «запусть», что звучит энергичнее и более явственным делает заложенное в корне ощущение *пустоты* и запущенности, вместо «ежедневно» — «ежедень», вместо «дружный» — «дружливый» (с усилением внутренней действенности формы), в том же духе — «послушливый», «снежистая», «неотстанная», «иссиясь», «протревожить» и т. п.

Свое, не встречавшееся до него у других писателей слово, — неперменный критерий А.И. Солженицына в критической оценке творчества каждого художника. Это подтверждается интереснейшими его заметками из «Литературной коллекции». Свои очерки о русских писателях — будь то Б.Пильняк, М.Алданов, В.Гроссман или А.Белый — автор «Литературной коллекции» образительно заключает перечнем новых, изобретенных писателем слов и выражений, которыми он «отменно расширил наш скудеющий языковой поток»¹.

В «крохотках» ярче, чем в крупных вещах Солженицына, сказалась установка писателя на звукопись, музыку речи, на слышимое слово. В полную силу это проявилось, к примеру, в «Колоколе Углича», в звуковой передаче колокольного звона: «Я — бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутненным душам. Всего один удар, но длится полминуты, а доливается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая — и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов».

Автор намеренно густо насыщает слова мягким сонорным звуком «л» (он повторяется здесь 16 раз!), рифмующимися созвучиями — дл-дл, лн-длн, длн, длени, (длится... доливается, полную, медленно-медленно), слит — с-лив (слитие — послушливый), воспроизводящими поток льющих, сливающихся в «гул» звуков.

В «крохотках» последнего времени Солженицын пристально всматривается в такие вечные, философские мотивы, как смерть и старение («Старение», «Завеса»), творческое вдохновение («Утро»), удары судьбы и способность человека выстоять («Молния»), вопросы о значимости мгновения в человеческой жизни («Завеса»), о душевном возделывании добра («Лихое зелье»), о тайне обновляющейся жизни («Лиственница») и др.

Художественная мысль писателя становится все лапидарнее, иной раз приближаясь к афористичности. Афоризм же, как говорили поэты, — это мост к символу (А.Белый). Такой мост писатель прокладывает через образный параллелизм — древний творческий прием, известный еще фольклору, который генетически был прародителем символа в литературе. Солженицын, как обычно, склонен оперировать испытанными, опробованными в веках художественными приемами, вместе с тем смыкая опыт архаический с новейшим, современным (неологизмы, словотворчество).

Образный строй рассказа «Лихое зелье» держится параллелью между описанием труда земледельца, терпеливо выхаживающего добрые злаки, в то время, как сорняки, «лихое зелье», разбрасываются легко, «против всякого ухода» (курсив А.И.Солженицына. — Л.К.). — и завершающим рассказ образом «труда» каждой души. В этой параллели заложен возможный ответ на главный вопрос автора — о слабости добра в нашей жизни, в «непролазной» истории: «Отчего ж у

добрых людей всегда сил меньше?» Добра меньше, чем зла, потому что оно требует от человека непрестанного своего возделывания, неотступного добра души, который берет на себя не каждый.

Образная параллель в «крохотках» может быть прямой, обнаженной и даже назидательной, как в данном случае или в «Молнии», где вслед за картиной расколотого молнией надвое и все же устоявшего дерева дается такая прозрачная аналогия: «Так и нас, иного, когда уже постигает удар кары-совести, то — через всё нутро напрострел, и через всю жизнь вдоль. И кто ещё остоится после того, а кто и нет».

Однако в «крохотках» есть параллели, заключающие в себе смыслы и неявные. В рассказе «Лиственница» нарисован выразительный образ «диковинного дерева», хвойного и лиственного, наделенного «наинадежной в мире» крепкой породой и в то же время — мягкостью «шелковистых иголок». ежегодно «празднично» сбрасываемой кроны. Думается, за лаконичной, самого общего плана аналогией финала: «Ведь и люди такие есть» — скрывается нечто еще более конкретное. В том чувстве радостного удивления, с каким автор описывает Лиственницу, угадывается ощущение его собственного сходства с ней. И правда, Солженицын не раз поражал нас крепостью своей духовной породы и одновременно потаенной мягкостью сердца, как и даром обновления. В «Лиственнице» есть нечто от символического автопортрета художника, впрочем, как и в некоторых других «крохотках».

Интимно-духовная связь автора с образами, вылившимися на бумагу, узнаваема также в рассказах «Старение» и «Завеса». Тема смерти не раз волновала Солженицына. Еще в давнем рассказе «Мы-то не умрём!» (из группы «крохоток» 1958-1960-х гг.) он писал о страхе смерти, поработившем современного человека и парадоксально оборачивающемся у него диким пренебрежением к отеческим могилам. В рассказе «Старение» (1996) писатель приоткрывает собственный духовный опыт, убеждающий, что превозмочь страх смерти человеку посылно.

«Помню в лагере греческого поэта, — вспоминает автор, — уже обречённого, а лет — за тридцать. И никакого страха перед смертью не было в его мягко-печальной улыбке. Я изумился. А он: «Прежде чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя подготовка: мы созреваем к ней. И уже ничто не страшно».

Всего год прошел тогда — и я испытал всё это на себе сам, в мои тридцать четыре. Месяц за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, — я в своей готовности, смиренности опередил тело.

Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старенье — вовсе не наказание Божье, в нем своя благодать и свои тёплые краски».

В накоплении подобного приуготовительного внутреннего опыта и состоит, по убеждению писателя, главный смысл старения, когда человек поднимается над самим собой, над материей. Оно, «ясное старение», видится художнику путем «не вниз, а вверх».

С рассказом «Старение» соприкасается «крохотка»

«Завеса», где речь идет о другой, неизбежной стороне старости — о болезнях сердца, когда его перебои заставляют вспомнить «камеру смертников»: «Каждый вечер — ждешь, не шуршат ли шаги? это за мной?» (Курсив А.И.Солженицына. — Л.К.) Пережив такую камеру, со всей остротой начинаешь ощущать значимость для человека мгновений жизни: «Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день!» Так, по-солженицынски, праведнически, осознается драгоценность каждого человеческого мгновения на земле как благодатный шанс жизнотворчества.

Творчество и его внутренняя почва — особое, утреннее состояние души, — своеобразно раскрываются в рассказе «Утро»: «Что происходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости твоего сна она как бы получает волю, отдельно от этого тела, пройти через некие чистые пространства, освободиться от всего ничтожного, что налипало на ней или морщило её в прошлый день, и даже в целые годы. И возвращается с первозданной снежистой белизной. И распаивает тебе необъятно покойное, ясное утреннее состояние».

Все художники знали подобное состояние, полагая первым условием творчества «покой и волю», «тайную свободу», как, вспоминая Пушкина, признавался в предсмертной своей речи «О назначении поэта» А.Блок. В «Утре» говорится, по сути, о том, что называют «творческим вдохновением». Но как своеобразно оно освещено у Солженицына! Художественно значимы в «крохотке» не только образы «воли», свободы, распаиванности души, но и состояние ее очищения — необходимости «пройти через некие чистые пространства», вернуться к «первозданной снежистой белизне» и ясности.

Поэтическое вдохновение, по Солженицыну, отнюдь не безудержный эмоциональный порыв, взлет и вихрь творческих страстей. Это не подобие языческого экстаза, который культивировали в своем творчестве многие поэты нашего века, начиная с Брюсова, Бальмонта и Вяч. Иванова. В художественном мире Солженицына это тоже своего рода «чародейство», но иной природы: «Благодательны эти миги! Ты — выше самого себя. Ты что-то несравненное можешь открыть, решить, задумать — только бы не расколыхать, только бы не дать протревожить эту озаренную гладь в тебе самом...»

Недаром автор оттеняет и варьирует мотивы «озаренной глади», «нетронутой глади вечной воды», особой «дивной бесколышности» духа, его «чуткой натяженности», то есть подвижного равновесия, которое вызвано не только усилением воли человеческой, но и высшей, благодатной. Органическим завершающим штрихом появляется тут образ «белой лилийки» (не изысканной «лилии», а малой и будто бы по-детски трогательной и ласковой «лилийки»), прорастающей из глубины внутреннего, молитвенного зова: «Почти не дыша, призываешь — тот светлый росток, ту верхушку белой лилийки, которая вот сейчас выдвинется из непротронутой глади вечной воды».

Так творческое вдохновение осмыслено художником-христианином.

Что же представляют собой «крохотки» с точки зрения их жанровой природы? Критики называют их лирическими миниатюрами, стихотворениями в прозе⁶. Думаю, это неверно. Лирическая взволнованность в «крохотках», конечно, присутствует, проявляясь, как правило, не в исповедальных откровениях, но опосредованно, в подтексте — в ритме словесных повторов, в интонационных переборах, в эмоциональной выразительности инверсий. Но не лиризм, открытый или подтекстный, делает здесь погоду. Главное для автора «крохоток» — не субъективное авторское впечатление от тех или иных явлений жизни, но сама их суть, переданная по большей части эпически-повествовательно, если не в последовательности событий, то в связке знаменующих их подробностей. «Крохотки» — это чаще всего «сгущенные» до грани афоризма рассказы, самый малый эпос.

Вряд ли возможно согласиться с некоторыми критиками, утверждающими, что автор «крохоток», как стопроцентный реалист, работает «старыми хватками». Солженицын, правда, не пишет «треугольниками и квадратами» (как иронизировал однажды в «Пасхальном крестном ходе», 1966): абстрактное искусство ему чуждо. Он верен глубокой, коренной (по его же слову) для русской литературы реалистической традиции. Однако нельзя недооценивать творческую восприимчивость писателя к широкому и разнообразному опыту литературы XX века не только в ее реалистическом русле⁷. Об этом свидетельствуют насыщенность прозы А.И. Солженицына символами, приемы «расширения» современной литературной лексики, новации в области словотворчества, богатство неологизмов и установка художника на слово слышимое, на музыкальную стихию речи, звукопись. Все это новыми гранями засверкало в цикле солженицынских крохотных рассказов.

Примечания

¹ Новый мир. 1997. № 1. С. 99.

² Там же. С. 99-100; № 3. С. 70-71; № 10. С. 119-120.

³ Здесь и далее все выделения в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, принадлежат автору статьи.

⁴ См.: Спиваковский П.Е. Лексическое «расширение» в эпопею А.И.Солженицына «Красное Колесо» // Социальные и гуманитарные науки. Отеч. лит. Сер. 6. Языкознание / ИНИОН РАН. 1994. № 4. С. 54-64.

⁵ См., напр.: Солженицын А.И. Из «Литературной коллекции» // Новый мир. 1997. № 1. С. 195.

⁶ Шнейерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Франкфурт-на-Майне, 1984. С. 233-234, 238; Георгиевский А.С. Своеобразие миниатюр «Крохотки» А.Солженицына // Актуальные проблемы современного литературоведения: Материалы межвузовской науч. конф. МГОПУ. Вып. 2. М., 1997. С. 27-31.

⁷ Не случайно и влияние на Солженицына прозы М.Цветаевой, Е.Замятина и Д.Дос Пассоса (см.: Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. М., 1996. С. 434, 446-448).

Юрий Цурганов

«Исследования новейшей русской истории»

под редакцией
А.И.Солженицына

Серия «Исследования новейшей русской истории» (ИНРИ) была основана в 1979 году. Книги с первой по девятую, а также одиннадцатая, вышли в Париже, в издательстве YMCA-Press. Издание десятой и двенадцатой книг осуществлено совместно парижским YMCA-Press и московским издательством «Русский путь»¹.

В предисловии к серии А.И.Солженицын пишет: «Русская история стала искажаться задолго до коммунистической власти <...>. Ответственность за это автор возлагает на представителей революционно-демократической мысли. Советские историки отчасти продолжили трактовку своих предшественников, «ещё во многом её огрубив, изломав, захлапив». «Советская официальная наука, если и содержала иногда ценные сведения, то лишь по недосмотру цензуры или от поворотов политического флюгера, когда приоткрывалось то, что скрывалось на предыдущем отрезке».

В связи с этим основная масса серьезных исследований по истории России XX века, а тем более по истории большевизма, приходится на долю зарубежных ученых, а также исследователей из числа русских эмигрантов. «Однако и западная наука <...>, — продолжает А.И.Солженицын, — невольно попала в принудительное русло, предоставляемое советской официальной наукой (но в иллюзии, что идет независимым путем) <...>. То же и в отношении эмигрантов: «Но и выехавшие тогда (после 1917 года. — Ю.Ц.) на Запад далеко не охватили сути и многих обстоятельств революционного обвала»².

За период большевистского правления, в России сменилось три поколения — три волны русской эмиграции. Первая связана с революцией и Гражданской войной, вторая — со Второй мировой войной, третья — отчасти с диссидентским движением середины 60-х — начала 80-х. Каждая из волн давала свою плеяду историков. Постепенно шел процесс слияния определенной части русской зарубежной исторической науки с западной исторической наукой. Ключевым



Случайное знакомство. Хабаровский край. 1994

периодом в этом процессе стало начало «холодной войны», когда США впервые стали противодействовать СССР как своему врагу и рассматривать эмиграцию из Советского Союза как важный пропагандистский инструмент в этом противодействии. Прежде всего американцы решили создать в русской эмиграции новые, объединяющие ее организационные структуры. Результатом этого явилось создание Лиги борьбы за народную свободу в марте 1949 года, Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене в 1950; созыв Штутгартской (август 1951) и Висбаденской (ноябрь 1951) конференций крупнейших эмигрантских организаций; учреждение в октябре 1952 года Координационного центра антибольшевистской борьбы. Последний должен был получить в свое распоряжение «Радио Освобождение» (будущее «Радио Свобода») в Мюнхене.

В эти годы вполне четко определилось стремление американцев к сотрудничеству с теми эмигрантскими структурами, в политической концепции которых Советский Союз идентифицировался с Россией и советская внешняя и внутренняя политика характеризовалась как непосредственное продолжение политики Российской империи. Наиболее яркое официальное выражение эта точка зрения нашла в «Законе о порабощенных нациях» (P.L. 86-90), в котором говорилось о «русском коммунизме», поработившем множество стран, среди которых перечислялись национальные республики СССР, зарубежные социалистические страны, а также «Казакция» и «Идель-Урал».

Постепенно сложилась научная историческая школа — советология, идейным центром которой был Гарвардский университет. Среди наиболее ярких работ, в которых большевизм рассматривается как непосредственное продолжение русской исторической традиции, следует назвать монографии «Россия при старом режиме» Ричарда Пайпса³, «Русская идея и 2000-й год» Александра Янова⁴, книги и статьи Збигнева Бжезинского, Роберта Таккера, Валерия Чалид-

зе и других. Определенной вехой в плане развития названной концепции стал выход в 1976 году сборника статей «Самосознание» с участием Е. Баранова, Л. Копелева, П. Литвинова, М. Меерсон-Аксенова, Д. Нелидова, Р. Пайпса, Г. Померанца, Б. Шрагина, Ю. Орлова и В. Турчина⁵. (По-видимому, это издание было создано и как «противовес» сборнику «Из-под глыб», вышедшему по инициативе А. И. Солженицына в 1974 году⁶.)

Можно с уверенностью утверждать, что полемику с указанной концепцией Солженицын считал и считает одной из своих основных задач. Этой полемике было посвящено множество статей и публичных выступлений на Западе. В статье «Чем грозит Америке плохое понимание России», подготовленной в феврале 1980 года для журнала «Форин Аффферс», Солженицын писал: «<...> мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которую он овладел первой. — Россией <...>. Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово «Россия»: его используют вместо слова «СССР», и слово «русские» вместо «советские» <...>. Слово «Россия» для сегодняшнего дня может быть оставлено только для обозначения угнетённого народа <...> и для обозначения его будущего, освобождённого от коммунизма»⁷.

Для Солженицына понятия «русский» и «советский» не только противоположны, но и враждебны. События октября 1917 года — обрыв русской традиции, а не ее продолжение в видоизмененной форме. Солженицын полемизирует с теми исследователями российской и советской истории, которые, произвольно отбирая явления, факты, имена, стремятся увидеть в Николае I изобретателя тоталитаризма, в жестких методах управления страной Ивана Грозного и Петра I — квинтэссенцию русского исторического развития, своеобразный прототип Ленина и Сталина⁸.

Не менее важная тема в работах Солженицына по указанной тематике — народное сопротивление режиму, которое не прекращалось никогда на всем протяжении большевистской истории. Солженицын настаивает на том, что независимо от форм сопротивления, принимаемых этим движением на разных исторических этапах, оно отнюдь не сводится ни к бандитизму, ни к «измене Родине».

Так возникла необходимость создания серии научных работ, которая стала бы альтернативой не только советскому, но и гарвардскому толкованию русской истории. «Авторы нашей серии не во всём непременно согласны друг с другом. Но все объединены целью очистить русскую историю от наростов лжи, выяснить затоптанную истину о последних веках России»⁹.

Собственно «последним векам России» посвящена только первая монография, открывающая серию — «История либерализма в России. 1762–1914» профессора В. В. Леонтовича¹⁰. Остальные книги, вышедшие на сегодняшний день, касаются событий XX века и преимущественно большевистского периода.

Центральная идея книги Леонтовича заключается в том, что русской традиции было вполне присуще



С сыновьями Ермолаем, Игнатом и Степаном. Вермонт. 1976

либеральное начало и нет оснований говорить о том, что деспотизм был основным ее содержанием: достаточно вспомнить реформы М. М. Сперанского, реформы Александра II, земское движение, П. А. Столыпина и т. д.

Второй и третий тома серии ИНРИ представляют собой сборники документов и материалов, составленные и откомментированные М. С. Бернштамом — «Независимое рабочее движение в 1918 г.»¹¹ и «Урал и Прикамье (ноябрь 1917 — январь 1919). Документы и материалы»¹². Публикации тематических документальных материалов Солженицын придает не меньшее значение, чем изданию монографий: «Большая часть исторических материалов в Советском Союзе была истреблена, другая взята в спецхранения, под особый допуск...»¹³ Известно, что в период пребывания за рубежом Александр Исаевич обратился к представителям старой эмиграции с призывом собирать документальные материалы и личные воспоминания. Полученные таким образом документы были использованы при написании эпопеи «Красное Колесо», при формировании серии «Всероссийская мемуарная библиотека» и при составлении рассматриваемых томов ИНРИ. Данные сборники имеют особое значение, так как развеивают один из советских мифов о всенародной поддержке большевистского режима в годы Гражданской войны и о том, что сопротивление новой вла-



В Вермонте. 1978

сти оказывалось только со стороны «класса угнетателей».

Четвертый и шестой тома серии — монографии Г. М. Каткова «Февральская революция»¹⁴ и «Дело Корнилова»¹⁵. Сопоставляя документы и воспоминания очевидцев и участников, автор дает не только хронологию и оценку событий, но и обобщенную картину того, что им предшествовало и их определило: напряженный поединок между правительством и либеральной общественностью в годы войны, ставший одной из причин Февральской революции.

Сведения о «мятеже» генерала Л. Г. Корнилова были с самого начала искажены. В своем обстоятельном труде, основанном на малоизвестных документах, Г. Катков дает новую трактовку последней попытки предотвращения захвата власти большевиками.

Исследование Ю. Г. Фельштинского «Большевики и левые эсеры»¹⁶ охватывает события от октября 1917 до «левозероковского мятежа» 6 июля 1918 года. На основании обширного источникового материала автор прослеживает краткий путь первого и последнего двухпартийного Совнаркома — путь кризисов вокруг созыва и разгона Учредительного собрания, Брестского мира, убийства Мирбаха.

Монографии Н. Д. Толстого «Жертвы Ялты»¹⁷ и Й. Хоффманна «История Власовской армии»¹⁸, а также совместная работа И. А. Дугаса и Ф. Я. Черона

«Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным»¹⁹ объединены общей темой. Эта тема получила в научной литературе название Освободительного движения народов России 1941-1945 годов. Имеется в виду вооруженное и идеологическое противостояние сталинскому режиму со стороны как граждан СССР, так и эмигрантов. Движение включало в себя казаков, объединенных в 15-й Казачий Кавалерийский корпус и другие, более мелкие, воинские подразделения; Восточные Легионы, формировавшиеся по национальному принципу; эмигрантский Русский Корпус на Балканах и, прежде всего, Русскую Освободительную Армию генерала А. А. Власова. В работе Дугаса и Черона описывается положение советских военнопленных, оказавшихся в безвыходном положении, ввиду того, что сталинское правительство объявило их предателями. Особый интерес представляют приложения к книге: протокол допроса военнопленного генерала М. Ф. Лукина, проливающий свет на его политическую позицию в войне; список лагерей в Германии, где содержались военнопленные; статистика их гибели.

Западногерманский историк профессор Й. Хоффманн на основе архивных документов рассматривает создание Власовской армии не как пропагандистскую акцию высших руководителей Рейха, а как попытку формирования независимой русской силы, бросившей в условиях войны вызов сталинскому режиму. По убеждению Солженицына, это было одним из симптомов возобновления Гражданской войны в России.

Книга Н. Толстого посвящена одному из наиболее тяжелых последствий Ялтинской конференции февраля 1945 года. Западные союзники обязались репатриировать в СССР всех бывших советских граждан, оказавшихся в годы войны за рубежом. На родине их ждали проверочно-фильтрационные лагеря, расстрелы и ГУЛАГ.

С монографиями Н. Толстого, Й. Хоффманна, И. Дугаса и Ф. Черона логически состыкуется сборник «Нарымская хроника, 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев», составленный В. Н. Макшеевым²⁰. В него вошли официальные документы ВКП(б), ОГПУ, НКВД из Государственного архива Томской области и Центра документации новейшей истории Томской области. Сборник дополняют отрывки из воспоминаний бывших спецпереселенцев. В центре внимания составителя трагическая судьба «нового контингента» из Прибалтики, Бессарабии, Буковины. Их пребывание в ссылке можно рассматривать и как причину, и как следствие возникновения антисталинского движения в СССР в период Второй мировой войны.

Послевоенный период отражен в работе В. П. Попова «Крестьянство и государство (1945-1953)»²¹. Книга представляет собой сборник документов, которые распределены по пяти разделам: «Деревенская жизнь», «Хлебозаготовки», «Крестьянские налоги», «Крестьянский труд» и «Крестьянская земля». В предисловии Солженицын пишет, что эта книга о том, как «после советско-германской войны, «всемирно-исторической победы, спасшей человечество», доживала

и погонялась к гибели большая часть <...> «народа-победителя» <...>». При этом управление колхозным крестьянством основатель серии ИНРИ оценивает как уголовное²².

Двухтомный труд Д.М.Штурман «О вождях российского коммунизма»²³ и сборник «Соблазн социализма. Революция в России и евреях», составленный А.С.Серебренниковым²⁴, возвращают читателя к истокам революции и периоду становления большевизма.

Работа Штурман состоит из трех частей: «Победа и крушение Ленина», «Николай Бухарин — любимец партии» и «Читая Троцкого». На основании большого количества открытых источников автор рисует объемные портреты ведущих деятелей революции. В заключении даны «Три лика Вождя и Учителя» и «Дополнительные штрихи к портретам».

Сборник, составленный Серебренниковым, включает факсимильно воспроизведенные публикации из прессы второй половины XIX — начала XX века, воспоминания участников событий и официальные документы. Обзор начинается с 60-х годов прошлого столетия и открывается разделом «Крестьянская реформа и евреи». Следующая часть книги — «Период «утопического» социализма» касается преимущественно взаимоотношений евреев с народолюбцами. Приводятся отдельные документы «Народной воли», призывающие к еврейским погромам как к одному из средств создания революционной ситуации в России. Наконец, в разделе «Период научного социализма» раскрывается отношение Маркса к «еврейскому вопросу» и приводятся его отдельные антисемитские высказывания, освящаются также роль евреев в РСДРП и революции 1905–1907 годов. Вывод составителя сборника сводится к тому, что еврей-социалисты с «трагическим опозданием обнаружили, в какую преисподнюю завели свой народ»²⁵. Эта книга опровергает концепцию революции в России как «еврейского заговора».

«Исследования новейшей русской истории» — продолжающаяся серия. Остается еще немало актуальных тем, которые, вне сомнения, будут разработаны авторами ИНРИ в недалеком будущем.

Подводя итог вышедшим на сегодняшний день томам серии ИНРИ, можно утверждать, что несмотря на разницы во взглядах авторов на отдельные события, в целом перед читателем возникает стройная концепция. В интерпретации Солженицына эта концепция сводится к следующему.

Во-первых, русская государственная традиция присущи не только тиранические, но и либеральные черты.

Во-вторых, Февральская революция не была «заговором темных сил» против России, а произошла по причинам глобального характера.

В-третьих, захватившие власть большевики не представляли интересов широких кругов населения, в частности рабочих и крестьян.

В-четвертых, народное сопротивление коммунизму в России имело место на протяжении всей советской эпохи, не исключая периода 1941–1945 годов.

Примечания

¹ В настоящее время издательство «Русский путь» осуществляет переиздание избранных книг серии с новой нумерацией, а также издание новых работ. Работы В.В.Леонтовича «История либерализма в России. 1762–1914», Н.Д.Толстого «Жертвы Ялты» и Г.М.Каткова «Февральская революция», носившие в первом издании номера 1, 8 и 4, в новом издании имеют номера 1, 2 и 4. Под номером 3 издан сборник «Нарымская хроника, 1930–1945. Трагедия спецпереселенцев», составленный В.Н.Макшеевым.

² Солженицын А.И. Предисловие к серии ИНРИ / Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М.: Рус. путь: Полиграфресурсы, 1995. С. 1. (ИНРИ: Т.1).

³ Pipes R. Russia Under the Old Regime. N.Y.: Charles Scribner's Sons, 1974. — 361 p.

⁴ Янов А.Л. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк: Liberty Publishing House, 1988. — 400 с.

⁵ Самопознание. Сб. ст. / Сост.: П.Литвинов, М.Меерсон-Аксенов, Б.Шрагин. Нью-Йорк: Хроника, 1976. — 320 с.

⁶ Из-под глыб. Сб. ст. / М.С.Агурский, Е.В.Барабанов, В.М.Борисов, А.Б., Ф. Корсаков (Ф.Г.Светов), А.И.Солженицын, И.Р.Шафаревич. М.: Париж: YMCA-Press, 1974. — 276 с.

⁷ Солженицын А.И. Чем грозит Америке плохое понимание России: Ст. для журн. «Форин Аффферс» / Солженицын А.И. Публицистика. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1989. 1-я pag. С.305–307.

⁸ См.: Там же. С.309–311.

⁹ Солженицын А.И. Предисловие к серии ИНРИ. С.11.

¹⁰ Леонтович В.В. История либерализма в России... — 548 с.

¹¹ Независимое рабочее движение в 1918 г. Документы и материалы / Ред., сост. М.С.Бернштам. Париж: YMCA-Press, 1981. — 602 с. (ИНРИ. Народное сопротивление коммунизму в России; Т.2).

¹² Урал и Прикамье (ноябрь 1917 — январь 1919). Документы и материалы / Ред., сост. М.С.Бернштам. Париж: YMCA-Press, 1982. — 602 с. (ИНРИ. Народное сопротивление коммунизму в России; Т.3).

¹³ Солженицын А.И. Предисловие к серии ИНРИ. С.11.

¹⁴ Катков Г.М. Февральская революция. Париж: YMCA-Press, 1984. — 426. (ИНРИ: Т.4).

¹⁵ Катков Г.М. Дело Корнилова. Париж: YMCA-Press, 1987. — 252. (ИНРИ: Т.6).

¹⁶ Фельштинский Ю.Г. Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 — июль 1918. На пути к однопартийной диктатуре. Париж: YMCA-Press, 1985. — 290 с. (ИНРИ; Т.5).

¹⁷ Толстой Н.Д. Жертвы Ялты. Париж: YMCA-Press, 1988. — 532 с. (ИНРИ; Т.7).

¹⁸ Хоффманн И. История Власовской армии. Париж: YMCA-Press, 1990. — 380 с. (ИНРИ; Т.8).

¹⁹ Дугас И.А., Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. Париж: YMCA-Press, 1994. — 433 с. (ИНРИ; Т.11).

²⁰ Нарымская хроника, 1930–1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы и воспоминания / Сост. и коммент. В.Н.Макшеева. М.: Рус. путь, 1997. — 254 с. (ИНРИ; Т.3).

²¹ Попов В.П. Крестьяне и государство (1945–1953). Париж: YMCA-Press, 1992. — 298 с. (ИНРИ; Т.9).

²² Солженицын А.И. Колхозная полянь и гибель / Попов В.П. Указ. соч. С.5.

²³ Штурман Д.М. О вождях российского коммунизма: В 2 кн. Париж: YMCA-Press; М.: Рус. путь, 1993. Кн. 1–2. (ИНРИ; 10).

²⁴ Соблазн социализма. Революция в России и евреях / Сост. А.С.Серебренников. Париж: YMCA-Press; М.: Рус. путь, 1995. — 523 с. (ИНРИ; 12).

²⁵ Там же. С.5.

Шамиль Умеров

Александр Солженицын и ненасилие

О том, насколько серьезна эта проблема для Александра Солженицына, свидетельствует утверждение в принципиально важной для него работе «Мир и насилие» (1973) — о том, что проблема «мир — война» является только частью другого — фундаментального вопроса. Писатель показывает, как потрясенные двумя мировыми войнами поколения совершили эмоциональную ошибку: угрозу человечеству стали видеть почти исключительно в войнах. Но противопоставление «мир — война» содержит логический сдвиг. В нем целая теза противопоставляется *части* антитезы. Война есть массовое, но не единственное проявление никогда не прекращающегося мирового насилия. Как заключает Солженицын, противопоставление равновесное и нравственно-истинное есть: *мир — насилие*¹.

Вспомним, что самый знаменитый роман русской литературы называется «Война и мир». Пророческая сила толстовской мысли, выраженная в нем, еще далеко не достаточно осмыслена. И если в год 80-летия писателя тогдашним догматически настроенным социальным критикам в его творчестве виделись сплошь кричащие противоречия (и оно действительно в начале века могло давать позитивистам повод для подобного толкования), то сейчас выясняется, что таких противоречий в нем, скорее всего, и нет.

Сейчас становится понятнее, что, разрабатывая идеи о непротравлении злу насилием, Толстой предвидел такое зловеще приближавшееся, небывалое доселе насилие над целыми народами, каждым человеком без исключения, что сердце его рвалось предупредить людей о грядущей опасности большего духовного и физического угнетения, чем случалось когда-либо прежде².

А. И. Солженицын книгами «Архипелаг ГУЛаг», «В круге первом», «Красное Колесо», «Ракетный корпус», «Один день Ивана Денисовича», драматической трилогией «1945 год» и другими создал эпопею, которую можно назвать «Насилие и мир». Так, главная сюжетная линия романа «В круге первом» связана с борьбой против атомной бомбы. Чтобы помешать сталин-

скому режиму получить ее, преуспевающий дипломат Иннокентий Володин жертвует и карьерой, и свободой. «А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество? Той подслеповатой карлице? той старухе с задуманным цыпленком? тому залатанному одному мужику? <...> Им нужны дороги, ткани, доски, стекла, им верните молоко, хлеб, ещё, может быть, колокольный звон — но зачем им атомная бомба?»³. Правоту его выбора подтверждает и заключенный физик Герасимович, убежденный, что участвовать в атомном проекте нельзя даже при условии скорого освобождения из лагеря. Несмотря на некоторую непоследовательность Герасимовича, насилие над личностью глубоко претит ему. И это именно он, кому автор отдал часть своих излюбленных мыслей о справедливом государственном устройстве, с вызовом отказывается разрабатывать технику для слежки за людьми: «Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человеков!»

Солженицын знает фронт и изгнание, смертельную болезнь и тюрьму. «Разве есть на свете большие испытания для человека?» — справедливо вопрошал Залыгин, предвзяв первую публикацию Солженицына в перестроечные годы.

Непримиримое отношение к убийствам, какими бы лозунгами и целями они ни маскировались, забота о сбережении народной силы (именно с этой позиции создан им новаторский очерк «Русский вопрос к концу XX века»), кажется, сильнее всего питают художественное и общественное сознание писателя. Александр Солженицын стал таким, каким он стал, не переставая ощущать себя одним из тех, с кем шагал он в бесчисленных лагерных колоннах, и в момент высшего международного признания сказал именно об этом: «На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трём-четырёх примощённым ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмёрзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с большим даром, сильнее меня — погибли»⁴.

Насколько крепка в Солженицыне лагерная память, вновь свидетельствует только что опубликованная первая часть очерков изгнания «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». Эта память духовно соединяет его с очень многими людьми. Так, он признается, что издавна чувствовал себя полноправным братом русских эмигрантов первой волны — из-за тех несчастных, кто после войны был из Европы насильственно вывезен гебистами и брошен в сталинские концлагеря, в те же бараки, где обретался остальной народ.

Ведущие члены НТС, с которыми Солженицын познакомился в первые месяцы изгнания, думали об успехах «подрывной противобольшевицкой деятельности» своей агентуры, открыто выступали с программой вооруженного свержения коммунистической власти, ждали скорой революции в СССР. Солженицын отдаёт должное их пламенной убежденности, стойкости, борцовскому духу, но цель ставит куда более глу-

бокую: жить не по лжи, если революция — то нравственная. Он видит, что «не всегда наибольший напор дает наилучший результат»⁵.

Писатель неоднократно, и вновь только что, настаивал и настаивает: «Но чего нельзя, нет, — решать дело оружием. Это значило бы — допоследне развалить нашу жизнь и погубить народ. Оружейные песни не знают доброго конца»⁶. Честные люди, творцы, делатели, граждане необходимы России, а не оружие. И не соглашатели — соглашатели любого рода, хотя бы не с коммунистической рогатой нечистью, но с западным комфортом. Он всей душой против смирения, против духовного, экономического и всякого другого рабства. Поэтому так восхищается он Белой эмиграцией, которая не за фруктами подалась в Париж, а билась за Россию и отступила с боями.

«Никогда мы ничего не дождемся от властных благодетелей, прежде чем поверим, что мы сами — исполнители своей судьбы. Только мы с а м и, если имеем волю не сгинуть с планеты вовсе (а это — грозит), должны своими силами подняться из нынешнего гибельного прозябания. Изменить — само поведение наше: усталое безразличие к своей судьбе.

Как преодолеть нам всегдашний наш порок — косность, вялость в общественной жизни?»⁷.

Красное колесо ненависти, пушенное большевиками в октябре 1917-го, настигло его, капитана-артиллера, в феврале 1945 года, за три месяца до окончания войны. Восемь лет лагерей и вечная ссылка в Кок-Терехе. Выйдя из лагеря, освободившись в конце концов от ссылки, он не бежал от этой своей — общей с миллионами, с народом, в этом-то всё дело! — судьбы. Кто еще после заключения так хранил лагерную одежду, кто сознательно, специально — для памяти навсегда — сразу фотографировался в ней, с номерами-клеймами на груди, колене и на шапке? Солженицын принял свою судьбу, он сумел ее понять, принял с последней полнотой и — возвысился до всемирного масштаба.

Он с невероятной силой открыл смысл в том, почему и как повернулась жизнь. Те, кто превратили его и миллионы других людей в зеков, хотели, чтобы уцелевшие после лютых лагерей чувствовали себя изгоями, всегда виноватыми, исторической пылью, чтобы были они благодарны за любую малую тень внимания, просто за то, что снова не бросают — пока — в цементный мешок, не ссылают в вечную мерзлоту... Так оно и получилось во многих случаях. И не упрекнешь людей — они вынесли слишком много.

Александр Солженицын — другая статья. Ему не навяжешь тракторки. То, как он принял судьбу зека, «свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон...»⁸, стало вызовом грозным, сокрушающим и к тому же, как оказалось, только первым в череде многих его последующих вызовов коммунистической власти и насилия над народами. Вызовом стало и то, что Солженицын отказался бороться теми террористическими приемами, к которым приучил советский режим и к которым волей или неволей прибегали отдельные его противни-

ки. Так, «для освобождения России никак <...> не могли в те годы придумать НТСовцы другой формы и метода, как создать такую же централизованную заговорщицкую партию, как большевики, только <...> чистую», — делится он своей оценкой в «Зёрнышке...»⁹. Сам Солженицын встал на путь свободного слова, на путь правды — открытой и потому не нуждающейся в арсенале насилия.

Для Солженицына — и он трижды прав — насилие генетически сопрягается с большевизмом: это Ленин всегда стоял за насилие и с легкостью, без колебаний к нему прибегал — был бы только террор действительно «массовидным», а не каким-то там по-народнически индивидуальным. С осознанием этого связана одинокая позиция Солженицына, столь рано сказавшего диссидентам о необходимости «петлистого» пути, столь чутко своим «зэческим сердцем»¹⁰ улавливавшего и профессиональное родство отечественных гебистов с западными журналистами-папарацци (то же насилие над частной, личной жизнью, над натурой человека), и историческую наивность западных миролюбцев, соблазнившихся иллюзорной возможностью ужиться с коммунистическим Драконом.

Насколько давно, широко и естественно в творчестве Солженицына утверждаются принципы ненасилия, можно увидеть в одной из самых замечательных сцен «Ракового корпуса», когда Олег Костоглов впервые за много лет посещает зоопарк.

После одноцветной ссылки, после одноцветной больницы (а до них — тюрьма и концлагерь) «глаз пирывал в красках». Но мало того, одновременно «всё у него вызывало истолкование». Видя, как расширяют крылья большие белолобые птицы, похожие на орлов, как бьют ими, но полететь-то не могут, как мучаются они в клетке, Костоглов и сам лопатками повел, расправляя тяжесть заплечного мешка. Или встретила табличка при другой клетке, извещающая, что неволю белые совы переносят плохо. «Знают же! — и всё-таки сажают! А кой её выродок переносит хорошо, неволю?» Мучаются медведи в своих камерах. Бурый медведь даже и ходить по ней не может, только поворачивается, потому что от стенки до стенки не было полных трех его корпусов. «Так что по медвежьей мерке это была не камера, а *бокс*». Особенно страдают белые медведи. «Полярным медведям, каково приходилось им здесь летом, в сорок градусов? Ну, как нам в Заполярье». И так далее. Мир зверей Олег ощущает как-то более понятным, чем буднично текущую жизнь горожан, от которой судьбой и временем был зло отторгнут.

Тут мысль Костоглова касается самого запутанного в этом заключении: даже приняв сторону зверей и имея силу, он не должен был бы сразу взламывать клетки. «Потому что потеряна была ими вместе с родной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней». В этой повести, написанной в шестидесятые годы, герою открылось то, что станет роковой проблемой страны через тридцать лет. А ведь, признаемся, так уверенно прежде думалось — только бы отстало от нас чудище, а уж мы вздохнем вволю, распрямимся и заживем хорошо. Не получилось!

Сверкнут крупички из щедро рассыпанной по всей прозе и публицистике Солженицына бесконечно многогранной, блестящей иронии. Сейчас она скорее горько-усмешливая: «Так извращённо Олег всё здесь воспринимал», «так нелепо размышлял», «так были выворочены его мозги». А на самом деле он-то на вещи смотрел прямо. Комментарий писателя: «Так были выворочены его мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и непричастно». Непричастность, по Солженицыну, равняется наивности! Непричастность — это когда «едут мимо жизни, семафоры зелёные», как ехали студенточки-практикантки в рассказе бригадира Тюрина («Один день Ивана Денисовича»). Но разве мимо жизни проедешь? То-то встретишься потом бригадиру одна из этих ленинградских девочек уже на Печоре — закрутил ее Кировский поток. А Костоготов причащен к общему опыту, с которым и его личный опыт в цементной спайке. «Что б ни видел он теперь в жизни — на всё возникал в нём серый призрак и подземный гул».

Трудно не усмехнуться, поймав словно бы невзначай брошенное замечание, что Костоготов следующие диковины проходил быстро, «не предполагая найти интересное в обезьяньем ряде». Еще бы, этот ряд ему и по лагерю, и по больнице был досконально известен! Да только здесь как будто и хлопнуло Олега. Еще одно объявление, только самодеятельное и над пустой клеткой, гласило, что жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей — злой человек сыпнул ей табака в глаза.

Его — зека, вечного ссыльнопоселенца, ракового больного, наконец, — это ничтожно мелкое на фоне личных и всеобщих трагедий происшествие с какой-то неведомой обезьянкой — потрясает. Мысленно он кричит, кричит тем, кого в зоопарке по обыкновению больше всего и у кого жизнь впереди: «Дети! Не растите злыми! Дети! Не губите беззащитных!»

Сентиментальность? Нет. Отвращение к клетке, к тюрьме, к насилию — его питает «серый призрак и подземный гул». Отношение к свойствам ненасилия, складывающееся в произведениях Солженицына, не похоже на искусственно очищенную, дистиллированную воду. Если вода — то это живая, реальная вода, со всеми элементами, которые дают ей жизненный вкус и которые питают жизнь.

Целых две главы «Архипелага...» Солженицын полностью отдал истории Георгия Тэнно, с уважительным сочувствием создав прекрасный портрет морского офицера, атлета, «убежденного беглеца», не согласного «рабски отбывать свой срок», не разрешавшего «себе даже свыкаться с мыслью, что ты — невольник».

Уже в первые недели заключения Тэнно тщательно готовил покушение на подлеца-следователя, чтобы в его форменной одежде бежать из Лефортовской тюрьмы. Позже, имея за плечами и концлагеря, и побег из них, и приговор к пожизненной каторге, мечтал как-нибудь добраться до Хвата — изувера, пытавшего Вавилова, и до «Вячика Карезубого» — Молотова. Тут, надо сказать, Тэнно был вовсе не одинок. Не только ему одному мешал жить первейший сталинский холуй и подручный. В свой черед человек другого

поколения, Сергей Довлатов, сокрушался, что китайцы хоть судили вдову председателя Мао, «а наш товарищ Молотов, выродок и убийца, разгуливает по Садовому кольцу»¹¹.

Писатель подробно рассказывает об отнюдь не вегетарианских замыслах своего героя. Но все же ни разу, сознательно или по воле случая вплотную приблизившись к той черте, за которой надо убивать, Тэнно не переступил ее.

Так и ножами, которые Тэнно и его дружок Коля готовили в побег, «не убивать они собираются, а пугать». Однажды, уже в состоявшемся побеге, они могут фактически наверняка спасти себя ценой жизни двух человек — мужа-инвалида с женой. Те переселяются из Павлодара в Омск и имеют при себе все документы, запас одежды и немудрящий скарб, к тому же никто не хватится их отсутствия... Напарник Коля к тому готов. Свидетелей — никаких. Вокруг Иртыш-река. «Случай исключительный, случай редкий, именно потому, что их нигде не хватятся. Но что мы хотим? Нужны нам их жизни? Нет, я не убивал людей и не хочу, — рассказывает Тэнно. — Следователя или опера, когда они истязают меня, — да, но не может подняться рука на простых работяг». «Да и — мог ли он убить?» — вопрошает писатель, и в самом вопросе ясен твердый отрицательный ответ. Беглецов в конце концов поймали краснопогонники. Так и остался Молотов «безопасно перелистывать старые газеты и писать свои мемуары палача. А Хват — спокойно тратит пенсию в 41 доме по улице Горького», — комментирует Солженицын. Но в отличие от них, Тэнно убийцей — не стал.

Характеристика исторически сложившихся концепций ненасилия представляет собой отдельную тему. Ограничимся несколькими штрихами. Важно иметь в виду, что эти концепции отличаются друг от друга и единого представления о ненасилии нет, хотя сам термин «ненасилие» (в английском языке — *non violence*, в немецком — *Gewaltlosigkeit*) повсеместно вошел в обиход как перевод понятия, выражающего философско-этическое кредо доктрины и деятельности М.Ганди — *ahimsa*, то есть добровольное воздержание от нанесения живым существам какого-либо физического ущерба.

Непрост и вопрос о том, что такое насилие. Чтобы не впасть здесь в детальное его обсуждение, можно сослаться на фундаментальную работу Эриха Фромма «Душа человека. Ее способность к добру и злу» (1964), где, например, выделяется около десяти типов насилия, различающихся мотивацией, направлением, происхождением, энергией, степенью патологии и т.д.

Общеизвестно, какое большое воздействие на М.Ганди оказало учение Льва Толстого о непротавлении злу насилием. Но тождества между их представлениями о ненасилии тоже нет, хотя пунктов соприкосновения обнаруживается немало.

Лев Толстой считал возможным всеобщее и безусловное преодоление насилия во взаимоотношениях людей только на пути их полного отказа от какой бы то ни было борьбы, от всякой политической деятельности и даже отказа от пользования государственными

ми учреждениями (поскольку всякая власть — зло), исключительно благодаря нравственному самосовершенствованию каждого человека. Наряду с другими сторонами толстовского миропонимания это тоже давало повод критикам Толстого говорить о его «историческом фатализме». А Махатма Ганди, как позже Мартин Лютер Кинг, свою программу ненасильственной национально-освободительной борьбы делал активной, наступательной, провоцирующей.

При этом М. Ганди не соглашался с теми своими сподвижниками, кто полагал, «что, если только не совершаются убийства, это ненасилие». Такой подход он называл «ненасилием слабого». Его идеал был гораздо шире. «Ненависть может быть побеждена лишь любовью», — провозглашал он вслед за великими учителями человечества, в том числе Львом Толстым, и в этом видел вершину ненасильственного сопротивления, «которая доступна лишь смелым». Нежелания причинить зла своему врагу или лишить его жизни недостаточно. Нельзя пассивно наблюдать, как убивают вашего врага, — если вы смелый, «вы должны защитить его даже ценою своей жизни»¹².

Как в социально-философских построениях и в политической жизни проявляются разные подходы к ненасилию, так, в общем по-разному, они проявляются в искусстве. Своеобразную интерпретацию последнего романа В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» дал Иван Есаулов, рассмотревший его в контексте русской духовной традиции: как первый роман о Великой Отечественной войне, написанный с православных позиций и при полном осознании трагической коллизии¹³.

Особенно явственен в романе контекст идей о непротивлении злу насилием. Эти идеи стали для Астафьева органичными настолько, что он с полным убеждением заявил недавно: «... Если победа достигнута с помощью насилия, она тоже — преступление»¹⁴.

Расправа, комментирует Есаулов, вытекает из самой природы советского патриотизма, отличительные особенности которого — разрыв с русской ментальностью, построение нового (своего) отечества и обычное для узурпаторов ожидание расправы. Поскольку «девять десятых» невозможно «взорвать... на воздух» (рассуждение Лямшина из «Бесов» Ф. Достоевского), они всегда представляют опасность для новой власти. Внутренний враг поэтому всегда опасней врага внешнего. Соответственно, на всех этапах развития советского государства насилие применялось и постоянно, и осознанно.

Пацифизм В. Астафьева, Вяч. Кондратьева, А. Приставкина, Б. Окуджавы (в данном случае отнесем к их именам как к «знаковым», а не как к исчерпывающему списку авторов) представляет чрезвычайно важную, но все же лишь одну сторону, одно направление развития того ареала современной русской литературы и общественной мысли, который утверждает идею ненасилия. Есть у него другая сторона, другое направление, отличающееся принципиальным разделением понятий «насилие» и «сила», «насилие» и «принуждение». «Насилие» безусловно отвергается, но применение «силы» и «принуждения» считается вполне закон-



В Вермонте. Начало 80-х

ным. Если одно, так сказать «астафьевское» направление восходит в своих истоках к мыслям и образам Льва Толстого, Федора Достоевского и его вполне можно сопоставлять с учением М. Ганди, с практикой академика А. Д. Сахарова, то другое, которое с той же долей условности рискованно назвать «солженицынским», вольно или, скорее, невольно апеллирует к Н. А. Бердяеву, к И. А. Ильину («О сопротивлении злу силою», 1925) и дальше — к распространенной традиции русской литературы XIX века. От доктрин М. Ганди и М. Л. Кинга оно весьма отличается, а спор А. Солженицына с А. Сахаровым (при том, что Солженицын выдвинул кандидатуру Сахарова на соискание Нобелевской премии мира) говорит сам за себя.

Суть этого, «второго» подхода можно лаконично и точно передать благодаря образной формуле из романа «В круге первом». Ее дает крестьянин Спиридон Егоров. Некоторыми обстоятельствами своего появления в романе и тем, с каким особенным уважением к нему относится Глеб Нержин (своего рода alter ego автора), — но ни в коем случае не своей проповедью! — Спиридон напоминает Платона Каратаева из «Войны и мира» Толстого. На вечный вопрос о том, кто прав, а кто виноват, Спиридон просто и с той готовностью, за которой ощущается причастность к необъятной толще народного знания о мире, отвечает: «<...> волкодав — прав, а лю-

доед — нет!» Услышав это, Нержин даже задохнулся от простоты и силы решения.

А Спиридон тем не удовлетворяется и тут же словно бы иллюстрирует сказанное применительно к себе. При этом мы, конечно, никак не можем отождествлять позиции героя и автора, даже если автор любит-ся отчаянной решимостью этого выходца из народной гущи. Ни словечка из тирады Спиридона нельзя выбросить, настолько все они пригнаны друг к другу, спаяны, сцементированы от души рвущимся чувством-выдохом. « — Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами — Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? — Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. — Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу — не осталось! я бы сказал, — он вывернул голову к самолёту: — А ну! ну! кидай! рушь!» Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе».

Состояние Спиридона оправдывает его вопль. Но как-то не верится, что он сам, если, допустим, это было бы в его власти, действительно открыл бомболук.

Сам писатель — бескомпромиссный противник насильственных экспериментов над историей. Он без обиняков заявляет: «Я — враг революций. Революцию осуждаю всякую. <...> Революции не выпрямляют ход истории, а только делают его ухабистым»¹⁵. Эта позиция Солженицына, как и одобрение им Термидора и Вандеи, не вызывает понимания у многих, возможно даже у большинства интеллектуалов на Западе и в России. Но его позиция последовательна и не однобока. Она зиждится на уважении к естественному жизненному процессу.

Солженицын постоянно выражает неприятие насилия над жизнью людей, защищая тем самым суверенитет личности от любых посягательств, в том числе со стороны государства. Выступая в Думе, он рассказывал, как во время поездки по Сибири летом 1994 года всюду и везде ему задавали вопрос: так что же нам делать? «Я отвечал: только не насильственным путём, только никаких новых чисток»¹⁶.

Единственный, по его мнению, путь к реальной демократии лежит через земства, то есть самоорганизацию общественно мыслящих граждан¹⁷, что — сопоставим — по содержанию и по цели отличается от толстовских надежд на крестьянскую общину.

Солженицынское неприятие «людоеда» в любых обличьях естественно сопрягается с признанием права на смелый отпор ему. Уже на первых страницах «Архипелага ГУЛаг» автор делится памятными лагерными терзаниями: почему же мы все были такими покорными во время ареста, даже по лестнице спускались на цыпочках, как нам приказывали, чтобы соседи не слышали. Почему не делали против гебистов засады по несколько человек в передних наших квартирах — «<...> с топорами, молотками, кочергами, с чем

придется? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофёром, оставшийся на улице, — угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудинок и подвижного состава, и не смотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина!»

В проблеме ненасилия, как и в большинстве проблем, связанных с русской литературой и духовной жизнью России, полезно бывает вновь взглянуть в опыт Пушкина. Многозначным, символическим, своеобразной парадигмой представляется путь поэта от якобинских умонастроений, выраженных в «Вольности», «К Чаадаеву», в «Мы добрых граждан позабавим...» и в некоторых других ранних стихотворных произведениях, — к его прозе тридцатых годов: отказу Владимира Дубровского от кровавой мести, предупреждению (устаами Гринева) о бессмысленности русского бунта. Пожалуй, напрасно Солженицын так резко высказался по поводу слишком частых, по его мнению, обращений к этому пророчеству¹⁸.

Можно заметить, как вот эти две тенденции, которыми в разные периоды жизни и творчества Пушкина отдавались его мысли, переживания, надежды, потом и противоборствовали в русской литературе и общественном сознании. Самоуверенный клич, прозвучавший в «Колоколе»: «К топору зовите Русь» — и безмятежные цветы на ухоженной могилке бунтаря Базарова. «Грядущие гунны» Брюсова, «Скифы» Блока и «...Молюсь за тех и за других» Волошина...

Припомним теоретическую программу И.А.Ильина, выраженную в работе «О сопротивлении злу силою»¹⁹. Идеолог белого движения, он был противником любых компромиссов с советским режимом, чем весьма отличался от многих других общественно-культурных деятелей Русского зарубежья. При этом, как справедливо указывает комментирующей позицию философа В.Кураев, применение принуждения и силы не возводилось Ильиным в ранг добродетели, а рассматривалось как допустимое при строго ограниченных условиях, когда все другие средства исчерпаны или применение их невозможно. Действительно, Ильин резко критиковал воззрения Льва Толстого, противопоставляя им древнее православие. Однако позитивное решение проблемы преодоления морального зла Ильин, вопреки распространяемому представлению о нем, основывал не на апелляции к силе, а на принципиальном различии между насилем и принуждением, грехом и несправедностью²⁰.

К тому же самому склонен уже упоминавшийся Илларион Павлович Герасимович из Марфинской «шарашки» («В круге первом»). Не видя никаких возможностей остановить нравственное опустошение народной души, творимое коммунистическим режимом, он становится «теоретиком дворцового переворота» и рассчитывает ликвидировать власть кремлевских преступников с помощью трех-пяти тысяч «отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей».

В обрисовке этих планов Герасимовича у самого писателя сквозит понимающая ирония. Дело не в конкретной программе, в данном случае совершенно избыточной и иллюзорной. Дело в том, что униженный и бесправный заключенный более всего озабочен не тем, как бы уцелеть сегодня, а поиском того, что возможно сделать, чтобы уберечь душу народа от окончательного поругания, чтобы равнодушие не стало (а к тому всё идет — он-то видит) его, народа, определяющей чертой.

Философу Ильину, пожалуй, понравился бы такой тип, как Герасимович. Можно сказать, что о таком типе человека — решительном, готовом действовать, несмотря на самые неблагоприятные условия, мечтал и Н.А.Бердяев. Он сожалел, что «у нас, русских, есть боязнь силы, вечное подозрение, что всякая сила от дьявола. Русские — непротивленцы по своему духу (интересно, что фактически теми же словами М.Ганди сказал об индийцах: «Наш народ по природе противник насилия, он миролюбив»²¹. — Ш.У.). Сила представляется всегда насилием и жестокостью. Быть может, потому русские стали такими, что в истории своей они слишком много страдали от насильовавшей их, над ними стоящей силы. Мы не привыкли на силу смотреть с моральной точки зрения, как на дисциплину духа, как на закал характера. <...> Русские всего более нуждаются в закале характера. Русская доброта часто бывает русской бесхарактерностью, слабоволием, пассивностью, боязнью страдания (это именно те качества, которые называл солженицынский Герасимович и широчайшее распространение которых в народной психологии побуждало его оправдывать применение силы против кремлевских преступников. — Ш.У.). Эта пассивная доброта, всегда готовая уступить и отдать всякую ценность, не может быть признана таким уж высоким качеством»²². Ей философ противопоставлял «доброту активную, твердую в отстаивании ценностей», которая «не противоположна твердости, даже суровости, когда ее требует жизнь». И далее: «Только к такой доброте нужно призывать», потому что сама любовь «иногда обязывает быть твердым и жестким, не бояться страдания, которое несет с собой борьба за то, что любишь. Вопрос идет о более мужественном, не размягченном отношении к жизни»²³.

Если попытаться, опираясь в том числе на суждения Бердяева, коротко определить понятие «насилие», то можно сказать, что это применение силы, не ограниченное на деле добросовестным законом, не предусматривающее для человеческой личности или какой-либо общественной группы реальной, фактически гарантированной возможности сохранить жизнь и основные права человека (human rights — словосочетание, которое отсутствует в словарях советского периода, в том числе англо-русских и русско-английских. — Ш.У.).

Идея ненасилия родственно близка самому духу русской литературы. По отношению к общественному сознанию такой уверенности нет. Это, по меньшей мере, открытый вопрос.

Развитие идей ненасилия в литературе, происходящее под мощным воздействием творчества А.И.Солженицына, противостояло и противостоит имперским тенденциям, доминировавшим в нашей общественно-исторической практике в течение советского периода, не говоря уже о более ранних временах, и, как со всей очевидностью показывают последние события, продолжают доминировать сегодня. Идеи ненасилия являются реальным противоядием от нравственной энтропии в современном обществе и, следовательно, осуществляют спасительную функцию по отношению к сознанию людей, к их представлениям о моральных ценностях.

Примечания

¹ Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т.1. Ярославль, 1995. С. 138.

² Вот, для примера, одно из характерных сегодняшних высказываний на сей счет: «Толстой много ошибался и во многом был прав, например, понимал немислимость войны в современном ему мире. В чем-то он был разрушителем культуры, но некоторые аспекты проповеди Толстого противоречили тогдашнему государству, — а теперь нам близки. Он был почти единственным противником войны (Бердяев и другие ее в общем принимали)». (Померанц Г. Собрание себя: Курс лекций, прочитанный в Университете истории культур в 1990-1991 гг. М.: ЛИА «ДОК», 1993. С. 36 — 37).

³ Солженицын А.И. Малое собр. соч.: В 7 т. Т.2. М.: ИНКОМ НВ. 1991. С. 211.

⁴ Солженицын А. Публицистика. Т.1. С.10.

⁵ Солженицын А.И. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // Новый мир. 1998. № 9. С. 96, 92, 105.

⁶ Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 199 — 200.

⁷ Там же. С. 203.

⁸ Солженицын А.И. Малое собр. соч. Т.5. 1991. С.7.

⁹ Солженицын А.И. Угодило зёрнышко... С. 96.

¹⁰ Там же. С. 88.

¹¹ Малозвестный Довлатов: Сборник. СПб: Журнал «Звезда», 1997. С. 26.

¹² Ганди М.К. Моя жизнь. М.: Наука, 1969. С. 558, 568, 565.

¹³ Есаулов И. Сатанинские звезды и священная война: Современный роман в контексте русской духовной традиции // Новый мир. 1984. № 4. С. 224-227, 234-239.

¹⁴ Так хочется жить: Виктор Астафьев в беседе с Ириной Ришиной // Лит. газета. 1995. 8 февраля. С. 3

¹⁵ Солженицын А. Революции не выпрямляют ход истории, а только делают его ухабистым: Выступление в программе «Буйон де кольтур» на втором канале Парижского телевидения в 1993 году // Лит. газета. 1993. 22 сентября. С. 3.

¹⁶ Солженицын А. Наша высшая цель — это сбережение нашего народа: Выступление писателя в Государственной Думе 28 октября // Московский комсомолец. 1994. 1 ноября. С. 2.

¹⁷ Солженицын А. Жёлтое колесо: Беседа писателя А.Солженицына с Н.Желноровой // Аргументы и факты. 1995. № 3. С. 5.

¹⁸ Солженицын А. «Русский вопрос» к концу XX века // Новый мир. 1994. № 7. С. 142.

¹⁹ Ильин И. О сопротивлении злу силою // Ильин И. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. С.6-132.

²⁰ Кураев В. Философ волевой идеи // Ильин И. Путь к очевидности... — С. 407-408.

²¹ Ганди М.К. Моя жизнь... С. 403.

²² Бердяев Н. Судьба России. М.: Сов.писатель, 1990. С. 177.

²³ Там же. С. 177-178, 176-177.

Ксения Маёрова

Заметки о языке и стиле эпопеи А.И.Солженицына «Красное Колесо»

Язык А.И.Солженицына — предмет восхищения одних и возмущения других: среди них есть обычные читатели, есть и литературоведы, лингвисты. Солженицын никого не оставляет равнодушным. Да и как бы мог писатель осуществить задуманное, не владея он таким языком?

Язык сталинской эпохи, немой, безликий, жестокий, грязный, как длинный заплыванный коридор, равно оскорбляющий как говорящих, так и слушающих, в наше время сменил безумный «карнавал» (В.Костомаров) сегодняшних языковых вакханалий (небрежные заимствования, вульгаризмы, воровское арг, салонные словечки, смешение всех стилистических примет, просто равнодушие и незнание языка, какая-то нечеловеческая интонация и т.п.). На этом фоне стремление Солженицына использовать возможности языка во всем их многообразии так ново, а на первый взгляд и сложно, что может служить в какой-то степени объяснением, почему словесно-образная структура его произведений еще так мало изучена.

Объем работы не позволяет нам рассмотреть или хотя бы обозначить все проблемы языка и стиля А.И.Солженицына. Рассмотрим некоторые из них, опираясь на текст эпопеи «Красное Колесо».

Идейно-историческое содержание эпопеи запечатлено в сложной словесно-образной структуре. Солженицын отбирает и комбинирует речевые средства в соответствии с замыслом — дать развернутый рассказ о революции в России. Этому замыслу служит «повествование в отмеренных сроках» (10 томов), написанное методом «Узлов».

«Узлы» в математике, биологии, философии — а теперь уже и в искусстве — клубки, связывающие и развязывающие различные сложные явления (узлы Джонса, ДНК). В различных науках, в искусстве «узлы» используются для изучения предметов и явлений. «Уже давно <...> я пришёл к выводу, что надо писать эту эпопею методом узлов. В математике есть такое понятие узловых точек. <...> И вот я сосредоточился на коротких промежутках», — пишет Солженицын¹.

Автор использует ряд необычных повествовательных приемов: газетные монтажи, прямое включение документов, с целью разрешения своих стилистических задач использует дневники, письма, выстраивает тексты в виде лесенки, использует множество других приемов, среди которых обращают на себя внимание отдельно расположенные между главами фразеологические выражения (обычно послловицы).

Солженицын мастерски отбирает речевые средства в соответствии со своим замыслом: дать развернутое повествование о революции в России, показать «картину мира», помещенную в «повествование в отмеренных сроках». Повествование «Узлами» делает речь максимально насыщенной, сгущенной, сфокусированной.

Что же представляет собой язык Солженицына в отношении к общепринятому языковому идеалу, каково его совпадение с общими нормами языкового вкуса? Для ответа нам надо сделать шаг от языка общего, внеличностного — к личности писателя и к его стилю.

У Солженицына есть целый ряд примет, характеризующих его стиль, его авторское своеобразие и проливающих свет на соотношение между языком вообще и языком Солженицына. Зная о сложной, наполненной поступками жизни писателя, мы можем рассматривать его язык, как один из серьезных, требующих работы и борьбы поступков. Свообразие языкового стиля — существенная часть биографии Солженицына, его индивидуальности. Любого человека характеризует его язык а уж писателя особенно. Возьмем небольшой отрывок из «Красного Колеса»:

«Это было на поляне, близ выхода из лесу.

=====
э к р а н
=====

= Всё, что колёсное есть — обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления.

На двуколках, фургонах — раненые, сёстры и врачи. Что попало на телегах — оружие, амуниция, вещи, может и захваченные у немцев...

Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется...

Верховые казаки стесненными группами...

Разрозненная артиллерия...

= Обречённая военная толпа.

= А вот и генеральская группа, верхами.

И казачья конвойная сотня при ней.

= Генерал Ключев. Напряженье держаться с внешней важностью. Смотреть с важностью, бровями двигать (а иначе ведь и слушаться перестанут):

— *Вахмистр! Снимите нательную рубаху. Взденьте на пику! Выезжайте медленно к противнику.*

= Вахмистр — как приказано. Пике передал соседу, снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную...

= и вот уж одет, а рубаха — белым флагом на пике. Ехать?»

Этот язык нельзя не узнать — таковы его лексика, синтаксис, интонация, расположение строк. Но своеобразие Солженицына напрямую связано с его лич-

ностью, биографией, и мы, читая, думаем не только о написанном, но и об авторе, о том, где он «услышал» своих героев, правильно ли услышал, хорошо ли передал их речь, как он к ним относится и т.д.

У Солженицына есть очень яркая и открытая особенность — он хочет не только рассказать, но и поговорить, «открыть душу». В этом своеобразии любого общения и это одна из наиболее характерных черт Солженицына-писателя. «Как бы ни пытался субъект добраться до объекта при помощи сигнификации, он никогда не может избежать того, чтобы не обнаружить самого себя»². А Солженицын и не пытается быть бесстрастным — он зовет, увлекает за собой... Документы, газетные вставки, письма и т.п. в этом не помеха — они только помогают убеждать, звать, доказывать. Обнаружение особенностей выражения «души» сначала может показаться сложным, может вызывать возражения, но оно становится очевидным как только мы выйдем за границы системных черт языка. Интонационные особенности текста, порядок слов, выбор синтаксических конструкций, их смена и построение, особое расположение материала, построение абзаца, периода и другие особенности (см. хотя бы приведенный выше отрывок) в числе прочего говорят о симпатиях и чувствах автора. В тексте мы видим преобладание тех или иных форм, выбор формы из ряда синонимичных, различия речи персонажей, ее индивидуализация в зависимости от авторского отношения и многое другое. Все это говорит об индивидуальности писателя, но рядом с реальным писателем, биографию которого мы знаем из различных источников, есть еще образ автора — образ, являющийся субъектом речи независимо от того, говорит ли он от первого лица или просто присутствует в авторской и других формах изложения. Фактический автор и «образ автора» могут не совмещаться, а особенности языка текста могут относиться к речи самого автора или к речи «образа автора». Определение этих особенностей — задача исследователя.

В «Матренином дворе», «Одном дне Ивана Денисовича», «Красном Колесе» и в других произведениях «образ автора» меняется в зависимости от задач Солженицына-автора, от жанра, темы и других причин. В зависимости от того, что нас интересует, в процессе исследования приходится обращаться уже не только к лингвистике текста, но к целому ряду других его составляющих — к стилистике, семиотике, философии, психологии и другим наукам. Можно посмотреть, например, на глаголы или наречия, которые употребляет Солженицын, с точки зрения возможности языка, а можно — с точки зрения характеристики языка Солженицына, или же языка «образа автора», который он создает. Это касается подавляющего большинства особенностей солженицынского языка.

В своей работе с языком Солженицын максимально использует все его возможности. Он обращается к безгранично емким концептам — универсалиям, которые «замешают в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода»³, что направлено на единую цель — на передачу сгущенного действия. Солженицын широко использует концепты не только в тексте произведений, часто возвраша-

ясь к одним и тем же снова и снова, но и почти во всех названиях. Концепт — это как бы потенции значений слова, «облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным, профессиональным, возрастным и прочим опытом»⁴. Универсальность предоставляет каждому человеку возможность воспринимать их в соответствии со своим опытом, своей концептосферой и концептосферой национального языка.

Возьмем, например, название романа «Красное Колесо». Колесо здесь не просто то, что катится (колесо телеги, машины, станка), а то, что давит, уничтожает, накатывается. Но «колесо» еще и «красное». «Красный» имеет много значений, но здесь это связано не с теми смыслами, которые широко распространены в русском языке (красивый, нарядный, парадный, лучший, торжественный), а с другими, прямо противоположными значениями, которые слово «красный» тоже издавна имеет в русском языке (кровавый, страшный, уничтожающий, революционный, беспощадный, преступный и т.п.). В названии эпопеи, ставшем новым концептом, соединились общие части значения слова «колесо» и слова «красный» — давящее, уничтожающее, страшное и т.п., — и, соединившись, эти значения обоих слов увеличили друг друга. Мы не можем о «красном колесе» думать как о чем-то маленьком, неопасном, игрушечном; красное колесо сразу представляется нам большим, угрожающим, давящим. Что подтверждается и раскрывается в тексте на протяжении всей эпопеи.

«КОЛЕСО! — катится, озаренное пожаром!
самостийно,
неудержимо,
все давящее».

(«Август Четырнадцатого»)

Так создается концепт, который входит в концептосферу национального языка и культуры.

Солженицын обращается к богатству языка на различных уровнях: на уровне запаса слов, который он старается максимально использовать (например, казалось бы, уже забытые глаголы, наречия, символы, метафоры — «атака напрокид», «в обмин», «для сохрану» и многие, многие другие), на уровне богатства значений и нюансов значений, на уровне отдельных концептов и на уровне совокупности концептосфер.

Среди необычных повествовательных приемов, используемых Солженицыным для сгущенного повествования «Узлами», — пословицы (своеобразные сгустки смысла). Пословицы как нельзя больше соответствуют методу «Узлов». Солженицын объединяет авторское сознание с сознанием народа, используя в числе других приемов для передачи народного склада ума, народных пристрастий и т.п. пословицы, как правило, не очень известные, а потому обращающие на себя большее внимание («Был рог, да сбил Бог»; «Эх, и черт тебя понес не подмазавши колесо»). Эти пословицы автор ставит между главами отдельно. Безусловно, у Солженицына широко распространено и традиционное употребление фразеологизмов: в речи автора, персонажей, в несобственно-прямой и в собственно-авторской речи.

Отдельно стоящие пословицы — один из приемов

создания «Узлов», а «Узлы» — специфика повествования и выражения идеи. Эти пословицы культурноносны, дают возможность выразить национальный характер народа, его взгляды на события, эмоции по поводу различных ситуаций («Ехал бы дале, да кони-то стали»). Пословицы — важная композиционная деталь «Узла», они выделены шрифтом, выдвинуты, обнажены, далеко отстоят от текста, они необычны и новы.

Это необычное употребление пословиц является одной из доминант, на которую опирается ряд других художественных средств «Красного Колеса». Пословицы в эпопее представляют информативную ценность уже как компонент национальной культуры. Свообразно проводит автор их семантизацию в тексте, когда на протяжении нескольких последующих глав другими образными средствами дает информацию о событиях, мироощущении персонажей. Читатель как бы подготовлен к восприятию и семантизации пословиц, он тоже становится этим народом, от лица которого звучит пословица.

Пословицы, употребленные таким образом, являются и эмоциональным центром, коннотативным «узлом» эпопеи («Сжился с бедою, как со своей головою»; «Ты раскинулась печаль по плечам, ты пустила сухоту по жилам»). Включением их в текст автор как бы расставляет эмоционально-смысловые доминанты. Пословицы становятся не только камертоном понимания текста, но и камертоном настройки субъективного восприятия. Рассмотрение контекстного употребления этих пословиц обнаруживает ярко выраженную комплексность употребления контекста, пословиц и всей экспрессивно-стилистической структуры эпопеи.

Эти отдельно стоящие пословицы — культурымы, неожиданные, отражающие культурное сознание народа, его морально-этическую реакцию на соответствующие события и ситуации («Замирился бы с туркой, да царь не велит»; «И дальняя сосна своему бору веет»). В них, столь редко встречающихся в наше время, автор фокусирует народную, крестьянскую точку зрения на происходящее. Пословицы становятся доминантой композиции романа. Они напечатаны большими буквами, другим шрифтом, кругом большие пробелы, акцентирующие на них внимание.

Семантическая многоплановость пословиц является подготовкой для восприятия фоновых знаний, которые уже нашли отражение в предшествующем тексте. Употребленные таким образом культурымы являются не только емким способом включения пословиц в текст, но и способом формирования мысли в соответствии с народным характером мышления. Отдельно стоящие пословицы являются своеобразным комментарием народа к происходящему, лаконичным средством его изображения. Они дают возможность автору передать свои мысли и чувства как бы со стороны, создать иллюзию присутствия многоликого народного героя. Солженицын использовал предшествующий пословице контекст для показа ее внутренней формы, многоплановой национально-культурной семантики, отражающей языковую «картину мира» русского человека. Уже сами по себе пословицы являются носителями повышенной семантической нагрузки, а в этом новом употреблении автор

свертывает обычный текст в лингвокультуреми с чрезвычайно насыщенной национально-культурной семантикой. «Узлы» позволяют придать пословицам сложные смыслообразующие функции, и они начинают выступать как «прецедентный текст», в котором сильна тенденция к метафоричности и который апеллирует к их значению, так как они не очень употребительны. То есть пословицы выполняют роль концептуальных метафор, сообщающих читателю осмысление народом социальной реальности в конкретной ситуации. Пословицы, употребленные в «Красном Колесе», становятся доминантным средством, лингвокультуремой, характеризующей эпоху, ситуацию, национальное народное сознание.

Александра Исаевича Солженицына можно с полным правом назвать художником, создавшим неповторимый индивидуальный стиль. В «Красном Колесе» все основные проблемы доводятся до уровня стиля и выражаются в форме стиля. Эпопея — это одновременно литературное произведение, историческое исследование и размышление над актуальными проблемами России. Роман написан как бы от имени поколения, по которому прошло «Красное Колесо». Солженицын центром тяжести произведения делает не психологические коллизии, а описание социальных порядков, среды и многозначных ситуаций. Он как бы трансформирует романную форму: местами «Красное Колесо» представляет собой коллаж различных «внероманных» текстов, беллетризованное действие прерывается историческими обзорами, повествование переходит в монтаж документов, — все это создает контрасты, «полифонизм» стиля писателя.

Солженицын не только серьезно работает над языком своих произведений, но и осмысливает теоретически возможности языка и речи (наблюдения над языком М. Цветаевой, А. Герцена, А. Платонова и др.). Его заметки о языке художественного текста заставляют задуматься многих. Обращает на себя внимание составленный Солженицыным «Русский словарь языкового расширения», вышедший в 1990 году. Писатель сокрушается, что «наша письменная речь еще с петровских времен то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала <...>⁵ — и он целеустремленно преодолевает изъятия устной и письменной речи, к которым мы часто так привыкли, что и не замечаем того, что сделали со своим языком, или же просто ленивы, чтобы заниматься этим. Но писатель верит, что русская «свободная и подвижная речь выстоит».

Примечания

¹ Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т.3. Ярославль, 1997. С.194.

² Shulz-Yande K. Zur Gegenstandbestimmung von Philologie und Literaturwissenschaft. Berlin, 1928. S.53.

³ Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: Антология. М., 1997. С.269.

⁴ Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Там же. С.281.

⁵ Солженицын А.И. Публицистика. Т.2. 1996. С.8.

Павел Спиваковский

Краткая библиография сочинений А.И.Солженицына и работ о нем

Очевидно, что серьезное исследование творчества любого писателя затруднительно без достаточно широкого библиографического «фундамента». В полной мере это относится и к библиографии работ, посвященных А.И.Солженицыну и его произведениям. В то же время литература о писателе и его творчестве столь обширна, что сколько-нибудь адекватно охватить все ее многообразие в небольшой по объему библиографии практически невозможно. Более или менее полный перечень текстов, посвященных Солженицыну, очевидно, должен состоять из многих томов, поэтому составитель заранее просит прощения у тех авторов, чьи работы не вошли в настоящую краткую библиографию. Нечего и говорить о том, что этот список ни в малейшей степени не претендует на какую-либо полноту.

Вместе с тем из библиографии сознательно удалены материалы, инспирированные советскими властями, организовавшими выпуск целой «библиотечки» клеветнической литературы, посвященной писателю и его творчеству. В качестве примера можно назвать сборник статей «Пресса о Солженицыне» (М.: Изд-во АПН, 1972), книгу сотрудничавшей с советскими властями первой жены писателя Н.А.Решетовской «В споре со временем» (М.: Изд-во АПН, 1975), а также книгу Т.Ржезача «Спираль измены Солженицына» (М.: Прогресс, 1978). Кстати, поистине чудовищная клевета, содержащаяся в последней из вышеперечисленных книг, взята на вооружение и некоторыми нынешними «разоблачителями» Солженицына (см., например: Бушин В.С. Александр Исаевич Ветров. Нобелевский лауреат // Шпион. М.: Мистикос, 1994. № 2. С.74-86).

Цель данной краткой библиографии — представить основной корпус сочинений А.И.Солженицына, а также наиболее примечательные (главным образом в литературоведческом плане) работы о нем и его произведениях. При этом особое внимание уделялось тек-

стам на русском языке, наиболее доступным отечественному читателю.

Составитель благодарит сотрудницу Русского общественного фонда Александра Солженицына Надежду Григорьевну Левитскую за предоставление ценнейших библиографических материалов.

В настоящее время Надежда Григорьевна завершает работу над самой полной на сегодняшний день библиографией изданий на русском языке, посвященных А.И.Солженицыну и его творчеству. Хочется надеяться, что эта работа в скором времени станет достоянием как отечественной, так и зарубежной аудитории.

Если у кого-либо из читателей журнала возникнет желание помочь Надежде Григорьевне в ее трудной, но такой важной и нужной работе, они могут присылать свои материалы по адресу: 103009, Москва, ул. Тверская, д. 12, строение 8, кв. 169. Русский общественный фонд Александра Солженицына. Левитской Н.Г.

Составление полной библиографии сочинений А.И.Солженицына и работ о нем и его произведениях, учитывающей публикации хотя бы только на всех основных европейских языках, — пока что дело весьма отдаленного будущего, но чем раньше это будет сделано, тем скорее мы сможем приблизиться к пониманию этого загадочного писателя и, возможно, хотя бы частично разгадать тайны его творчества.

I. Сочинения и интервью А.И.Солженицына

1. Собрание сочинений: [В 20 т.] — Вермонт: Париж: YMCA-Press, 1978-1991. Т.1-20.
2. [Собрание сочинений]: [В 8 т.] М.: Центр «Новый мир», 1990. Т.1-8.
3. Автобиография А.Солженицына: (Написана для Нобелевского комитета) // Левитская Н.Г. Александр Солженицын: Библиогр. указ.: Авг. 1988-1990. М., 1991. С.9-11.
4. Бодался телёнок с дубом: Очерки лит. жизни. М.: Согласие, 1996. 688 с.
5. Всё равно // Лит. газ. М., 1995. 16 авг. № 33. С.5.
6. Выступление на торжественном заседании // Сборник докладов IV Международных Рождественских образовательных чтений, М., 1996. С.11-26.
7. «Голый год» Бориса Пильняка: Из «Лит. коллекции» // Новый мир. М., 1997. № 1. С.195-203.
8. Два рассказа: Эго; На края // Там же. 1995. № 5. С.12-50.
9. Двучастные рассказы: Молодянка; Настенька; Абрикосовое варенье // Новый мир. М., 1995. № 10. С.3-34.
10. Демократия в России ещё не начиналась / И.Шевелев // Общая газ. М., 1998. 28 мая/3 июня. № 21. С.1.
11. Земское самоуправление — ключ к спасению России (выдержки из публицистических статей и выступлений) / Сост. В.Коробейников. М., 1996. 34 с.
12. Иван Шмелёв и его солнце мёртвых»: Из «Лит. коллекции» // Новый мир. М., 1998. № 7. С.184-193.
13. Из Евгения Замятина: «Лит. коллекция» // Новый мир. М., 1997. №10. С.186-201.
14. «Исторически и мировосприятно православие для нас на первом месте» // Москва. М., 1995. № 9. С.157-161.
15. Исчерпание культуры?: Выступление на «круглом столе» Российской Академии наук // Моск. новости. М., 1997. 28 сент. / 5 окт. № 39. С.4-5.
16. К нынешнему состоянию России: Ст., написанная для газ. «Монд» // Рус. мысль. Париж, 1996. 5/11 дек. № 4152. С.8-9.

17. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М.: Воениздат, 1993-1997. Т.1-10.
18. Крохотки // Новый мир. М., 1997. № 1. С.99-100; № 3. С.70-71; № 10. С.119-120.
19. Ленин в Цюрихе: Главы. Paris: YMCA-Press, 1975. 240, [1] с.
20. Лицемерие на исходе XX века // Аргументы и факты. М., 1997. № 40. С.3.
21. На изломах: Двучастный рассказ // Новый мир. М., 1996. № 6. С.3-25.
22. На изломах: Малая проза. Ярославль: Верхняя Волга, 1998. 604, [1] с.
23. Научиться держать жизнь в собственных руках: Александр Солженицын отвечает на вопросы калужан // Общая газ. М., 1998. 4-10 июня. № 22. С.8.
24. Один вечер Александра Исаевича / Я.Юферова // Известия. М., 1998. 25 апр. № 77. С.2.
25. Окунаясь в Чехова: Из «Лит. коллекции» // Новый мир. М., 1998. № 10. С.161-182.
26. Останкинские встречи с Солженицыным: После духовного обморока и разорения / Беседа с Н.А.Струве // Рус. мысль. Париж, 1994. 22 дек. № 4058. С.10-11.
27. «Петербург» Андрея Белого: Из «Лит. коллекции» // Новый мир. М., 1997. № 7. С.191-196.
28. [Письмо Д.С.Лихачеву] // Лит. газ. М., 1996. 27 нояб. № 48. С.6. Поздравление с 90-летием.
29. По минуте в день. М.: Аргументы и факты, 1995. 172, [1] с.
30. [Предисловие к рассказу П.П.Лаврёнова «Косиножка»] // Новый мир. М., 1998. № 1. С.84.
31. Приёмы эпопей: Из «Лит. коллекции» // Там же. С.172-190. О кн. М.Алданова «Истоки» и В.Гроссмана «За правое дело» и «Жизнь и судьба».
32. Прусские ночи: Поэма. Paris: YMCA-Press, 1974. 64 с.
33. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1995-1997. Т.1-3.
34. Пьесу в стихах легче вынести из лагеря: Как Александр Солженицын не стал артистом / Интервью взял Г. Заславский // Независимая газ. М., 1995. 1 февр. № 17. С.1.
35. Пьесы и киносценарии. Вермонт: Париж: YMCA-Press, 1981. 588, [3] с.
36. Россия в обвале. М.: Рус. путь, 1998. 203, [3] с.
37. Сквозь чад: «Бодался телёнок с дубом», отр. из шестого доп. Paris: YMCA-Press, 1979. 60 с.
38. «Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова: Из «Лит. коллекции» // Новый мир. М., 1997. № 4. С.191-199.
39. Солженицын о Чечне / Интервью с Н.Желноровой // Моск. новости. М., 1995. № 1/2. С.1, 3.
- Жёлтое колесо: Окончание беседы А.Солженицына с Н.Желноровой // Аргументы и факты. М., 1995. № 3. С.1.
40. Традиции российской государственности и перспективы федерализма // Общая газ. М., 1996. 6/12 июня. № 22. С.3.
41. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // Новый мир. М., 1998. № 9. С.47-125; № 11. С.93-153.
42. Февральская революция — это грозное предупреждение судьбы / Беседу вел А.Кукес // Моск. новости. М., 1997. 28 сент./5 окт. № 39. С.4-5.
43. Хочу во всем разобратся сам // Лит. газ. М., 1994. 13 июля. № 28. С.1, 3.
44. Четыре современных поэта: Из «Лит. коллекции» // Новый мир. М., 1998. № 4. С.184-195. — О С.Липкине, И.Лиснянской, Н.Коржавине и Л.Владимировой.
45. Русский словарь языкового расширения / Сост. А.И.Солженицын М.: Наука, 1990. 272 с.

II. Работы об А.И.Солженицыне

1. Библиографии (в хронологическом порядке)

46. A. Solzhenitsyn selected bibliography: Dec. 1962 — oct. 1970 / Comp. by L.Havilant // Canadian Slavonic papers. Toronto: Canadian assoc. of slavists, 1971. Vol.13. № 2/3. P.243-252.
47. Alexander Solzhenitsyn: An international bibliogr. of writings by a. about him / Comp. by D.M.Fiene. Ann Arbor (Mich.): Ardis, 1973. XIX, 148 p.
48. Martin W. Alexander Solzhenitsyn: Eine Bibliographie seiner Werke. Hildesheim; N.Y.: Olms, 1977. 184 S.
49. Solzhenitsyn studies: A quarterly survey (Spring 1980) / Ed. by M.A.Nicholson. Hamilton (N.Y.): Colgate Univ., 1980. Vol.1. № 1. 20 p.
50. Левитская Н.Г. Александр Солженицын: Библиогр. указ. Авг. 1988-1990 / Сов. фонд культуры. Дом Марины Цветаевой; Предисл. Е.Ц.Чуковской. М., 1991. 126, [1] с.

2. Книги и брошюры

51. Август Четырнадцатого читают на родине: Сб. ст. и отзывов. — Paris: YMCA-Press, 1973. 138, [3] с.
52. Биуль-Зедгинидзе Н. Литературная критика журнала «Новый мир» А.Т.Твардовского (1958-1970 гг.). М.: Культурно-просветительский центр «Первопечатник», 1996. 439 с.
53. Бракман Р. Выбор в аду: Жизнеутверждение солженицынского героя. Ann Arbor (Mich.): Эрмитаж, 1983. 142 с.
54. Геллер М.Я. Александр Солженицын: (К 70-летию со дня рождения). Л.: ОРП, 1989. 117 с.
55. Горлов А.М. Случай на даче. Paris: YMCA-Press, 1977. 201, [2] с.
56. Гуль Р.Б. Солженицын: Статьи. Нью-Йорк: Мост, 1976. 96 с.
57. Гуль Р.Б. Читая «Август Четырнадцатого» А.И.Солженицына. Нью-Йорк: Rausen Publishers, 1971. 30 с.
58. Жить не по лжи: Сб. материалов: Авг. 1973 — февр. 1974. Самиздат — Москва. Paris, 1975. 203, [2] с.
59. Зильберберг И.И. Необходимый разговор с Солженицыным. [Англия], 1976. 187, [1] с.
60. Коган Э. Соляной столп: Политическая психология А.Солженицына. Париж: Поиски, 1982. 228 с.
61. Краснов-Левитин А.Е. Два писателя. Париж: Поиски, 1983. 294 с.
62. Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А.Солженицыне. М.: Родина, 1994. 619, [2] с.: ил.
63. Литвинова В.И. Жить не по лжи: Методич. рекомендации по изучению творчества А.И.Солженицына / Хакасский гос.ун-т им. Н.Ф.Катанова. Абакан, 1997. 46, [1] с.
64. Лопухина-Родзянко Т.А. Духовные основы творчества Солженицына. Frankfurt a/M.: Посев, 1974. 178, [2] с.
65. Медведев Ж.А. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». Л.; Basingstoke: Macmillan, 1973. XIV, 223 с.
66. Нива Ж. Солженицын. М.: Худож лит., 1992. 189, [2] с.
67. Паламарчук П.Г. Солженицын: Путеводитель. М.: Столица, 1991. 93, [3] с.
68. Панин Д.М. Записки Сологодина. Frankfurt a/M., 1973. Кн.1. 575 с.
69. Плетнев Р. А.И.Солженицын 2-е изд., доп. Paris: YMCA-Press, [1973]. 171, [2] с.: карт.
70. Решетовская Н.А. Александр Солженицын и читающая Россия. М.: Сов. Россия, 1990. 413, [2] с.: ил.
71. Решетовская Н.А. Обгоняя время. Омск: Омское бюро пропаганды худож. лит., 1991. 152 с. (Полит. мемуары).
72. Решетовская Н.А. Отлучение: Из жизни Александра Солженицына: Воспоминания жены. М.: Мир кн., 1994. 365, [2] с.

73. Решетовская Н.А. Разрыв. Иркутск: МП «ЛИК» Востоčno-Сибирск. кн. изд-ва. 1992. 170, [2] с.
74. Ржевский Л.Д. Творец и подвиг: Очерки по творчеству Александра Солженицына. Frankfurt a/M.: Посев, 1972. 165, [2] с.
75. Слово пробивает себе дорогу: Сб. ст. и документов об А.И. Солженицыне/Сост. В.И. Глоцер и Е.И. Чуковская. М.: Рус. путь, 1998. 494, [1] с.
76. Спиваковский П.Е. Феномен А.И. Солженицына: Новый взгляд: (К 80-летию со дня рождения)/ИНИОН РАН. М., 1998. 135 с. [В печати].
77. Струве Н.А. Православие и культура. М.: Христианское изд-во, 1992. 337 с.
78. Супруненко П. Признание... Забвение. Судьба... [Минеральные воды: Газ. «Кавказская здравница»], [1994]. 86 с.; ил.
79. Фельштинский Ю.Г. Солженицын и социалисты. Париж: Нью-Йорк: Третья волна, 1983. 47 с.
80. Чалмаев В.А. Александр Солженицын: Жизнь и творчество: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1994. 285, [2] с.
81. Чуковская Л.К. Процесс исключения: Очерк лит. нравов. М.: Междунар. ассоц. деятелей культуры «Новое время» и журн. «Горизонт», 1990. 349 с.
82. Шмеман А., прот. О Солженицыне. Montreal: The orthodox cathedral, 1976. 54 с.
83. Шнеерсон М. Александр Солженицын: Очерки творчества. Frankfurt a/M.: Посев, 1984. 297 с.
84. Штурман Д.М. Городу и миру: О публицистике А.И. Солженицына. Париж: Нью-Йорк: Третья волна, 1988. 432 с.
85. Allaback S. Alexander Solzhenitsyn. N.Y.: Warner books, 1979. 222 p.
86. Barker F. Solzhenitsyn: Politics and Form. L.; Basingstoke: Macmillan press, 1977. IX, 112 p.
87. Bienek H. Solschenizyn und andere: Essays. München: Hanser, 1972. 102 S.
88. Björkegren H. Alexander Solsjenitsyn: Biografi och document. Stokholm: Wahlsröm & Widsrand, 1971. 173 s.
89. Carpovich V.V. Solzhenitsyn's peculiar vocabulary: Russian-English glossary = Trudnye slova u Solzhenitsyna: Russko-angliiskii tolkovyi slovar'. N.Y.: Technical Dictionaries Co, 1976. 335 p.
90. Carter S. The politics of Solzhenitsyn. L.: Macmillan, 1977. XII, 162 p.
91. Chaix-Rui J. A. Soljénitsyne, ou La descente aux enfers: Étude. Paris: De Duca, 1970. 154 p.
92. Clément O. L'esprit de Soljénitsyne. Paris: Stock, 1974. 384 p.
93. Curtis J.M. Solzhenitsyn's traditional imagination. Athens (Ga): Univ. of Georgia press, 1984. 214 p.
94. Daix P. Ce que je sais de Soljénitsyne. P.: Seuil, 1973. 236 p. (Coll. Combats).
95. Drozda M. Babel Lenov Solzenicyn. Praha: Československý spisovatel, 1966. 194 s. (Dilna. Edice. Ridí A.M. Pisa: Sv.23).
96. Dunn J.E. «Ein Tag» vom Standpunkt eines Lebens: Ideelle Konsequenz als Gestaltungsfaktor im erzählerischen Werk von Alexander Isaevič Solzenicyn. München: Sanger, 1988. 216 S. (Slavistische Beiträge; Bd.232).
97. Edna Monica, sister. The mystery of love in Solzhenitsyn: A conference given to the novice on the vow of chastity. Fairacres: SLG press, 1980. 12 p.
98. Ericson E.E. Solzhenitsyn: The moral vision. Grand Rapid (Mich.), 1980. XV, 239 p.
99. Falkenstein H. Alexander Solschenizyn. Berlin: Colloquium, [1975]. 87 S. (Köpfe des 20. Jahrhunderts; Bd.79).
100. Giordano C. Solzenicyn. arcipelago di bugie. Milano: Todariana, 1978. 133 p. (Luoghi saggitici).
101. Grazzini G. Solzhenitsyn / Transl. from the Italian by E.Mosbacher. L.: Sphere, 1974. 250 p.
102. Johnsson M. Alexander Soljenitsyn mellan Öst och Väst. Stockholm: Timbro frl., 1985. 218 s.
103. Kodjak A. Alexander Solzhenitsyn. Boston: Twayne publishers a division of G.K.Hall & Co, 1978. 170 p.
104. Krasnov V. Solzhenitsyn and Dostoevsky: A study in the polyphonic novel. Athens (Ga): Univ. of Georgia Press, 1980. 226, [1] p.
105. Lefort C. Un homme en trop: Réflexions sur «L'Archipel du Goulag». [Nouvelle éd.]. P.: Seuil, 1986. 255 p. (Coll. Points; 184. Sciences humaines).
106. Lo Gatto E. Profilo della letteratura russa dalle origini a Solzenicyn: Momenti, figure e opere. Milano: Mondadori, 1975. 528 p.
107. Lombardo-Radice L. Gli accusati: Franz Kafka, Michail Bulgakov, Aleksandr Solzenitsyn. Milan Kundera. Bari: De Donato, 1972. 413 p.
108. Lukács G. Solzhenitsyn. L.: Merlin press, 1970. 88 p.
109. Maccullin D. Is anyone taking any notice?: A book of photographs a. comments by D.Maccullin. With phrases drawn from the 1970 Nobel Lecture by Alexander Solzhenitsyn.—Cambridge (Mass.): MIT press, 1973. 176 p.
110. Marion C. Qui a peur de Soljénitsyne? Paris: Fayard, 1980. 201 p.
111. Marsh R. Images of dictatorship: Stalin in literature. L.: N.Y.: Routledge, 1989. XIII, 267 p.
112. Martin A. Soljénitsyne le croyant: Lettre, discours, témoignages. Paris: Albatros, 1973. 171 p.
113. Moody C. Solzhenitsyn. Edinburgh: Oliver a. Boyd, 1976. [8]. 206 p. (The modern writers series).
114. Motiramani M. Die Funktion der literarischen Zitate und Anspielungen in Aleksandr Solzenicyns Prosa (1962-1968). Frankfurt a/M.: Lang, 1983. VII, 206 S. (Europäische Hochschulschriften. Reihe 16, Slawische Sprachen und Literaturen; Bd.25).
115. Neumann-Hoditz R. Alexander Solschenitzyn in Selbstzeugnissen und Bilddokumentation. Reinbek bei Hamburg, 1974. 155 S.
116. Nielsen N.C. Solzhenityn's religion.—Nashville; N. Y.: Nelson, 1975. IX, 164 p.
117. Nivat G. Soljénitsyne. Paris: Seuil, 1980. 192 p. (Écrivains de toujours; 104).
118. Nivat G. Sur Soljénitsyne: Essais. Lousanne: 'Age d'Homme, 1974. 204 p. (Slavica).
119. Pirota G. Verita come lusso: Lettera a Solzenicyn. Roma: Bulzoni, 1975. 216 p.
120. Rothberg A. Aleksandr Solzhenitsyn: The major novels. Ithaca (N.Y.): Cornell univ. press, 1971. XVIII, 215 p.
121. Scammel M. Solzhenitsyn: A biography. N.Y.: L.: Norton, 1984. 1051 p.
122. Soljénitsyne / Ce cahier a été dirigé par G.Nivat et M. Aucouturier. Paris: Les éditions de l'Herne, 1971. 519 p. (Slave; № 16).
123. Soljénitsyne. [Paris]: Seuil, [1974]. 88 p.
124. Soljénitsyne / Communications [par] M. Aucouturier [et al.]; Interventions [par] S.Allemand [et al.]. Paris: Union générale d'éditions, 1974. 312 p.
125. Soljénitsyne accuse / Avant-propos par A.Lenoux; Introd. et notes de L.Labeledz; Tradit de l'anglais par G.Piquemal. Paris: D.Wapler (Éditeur), 1971. 268 p.
126. Soljénitsyne. Poe, Beckett: Théories de la littérature. [Paris]: Union générale d'éditions, 1976. 315 p. (Revue d'esthétique, 1976; № 2/3).
127. Solschenizyn: Eine Bid-Biographie. Darmstadt, [1974]. 93 S.
128. Solzhenitsyn: A collection of critical essays / Ed. by K.Feuer.

Englewood Cliffs; N.Y.: Prentice-Hall, 1976. XII, 174 p. (Twentieth century views).

129. Solzhenitsyn: A pictorial autobiography. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, [1974]. 88 p.

130. Solzhenitsyn in exile: Crit. essays a. documentary materials / Ed. by J.B. Dumlop et al. Stanford (Cal.): Hoover institution press, 1985. VII, 414 p. (Hoover press publ.; 305).

131. Die Sowjetunion, Solschenizyn und die westliche Linke / Herausgegeben von R. Dutschke und M. Wilke unter Mitarbeit von R. Crusius. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1975. 317 S. (Rororo aktuell; 1875).

132. Suchanek L. Aleksander Solzhenicyn: Pisarz i publicysta. Kraków: Univ. Jagelonski, 1994. 147 s.

133. Timmerman H. Der «Fall Solzhenitsyn» als Herausforderung an die Weltkommunisten. Köln, 1974. 21 S.

134. Trochimski J. Solzhenicyn. Warszawa: Wielka Polska, 1996. 51, [1] s.

135. Ueber Solschenizyn: Aufsätze, Berichte, Materialien / Herausgegeben von E. Markstein und F.P. Ingold. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1973. 359 S.

136. Vilner J. Solzhenitsyn and the future. Hicksvill; N.Y.: Exposition press, 1975. 48 p.

137. Vita L. Solgenitsin: Martire della libertà. Messina: Battaglia Letteraria, 1974. 29 p.

3. Статьи, тезисы докладов, интервью, письма

138. Аверинцев С.С. Мы и забыли, что такие люди быва-ют // Общая газ. М., 1998. 10/16 дес. № 49. С. 8.

139. А.Н. (Немзер А.С.). «Звезда», Санкт-Петербург. № 6 // Сегодня. М., 1994. 1 июля. № 122. С.16. Рец. на журн.: Звезда. СПб., 1994. № 6 (номер почти полностью посвя-щен А.И.Солженицыну и его творчеству).

140. Авсеенко Н. Женские образы в романе Солженицына «В круге первом» // Современник. Торонто, 1979. № 43/44. С.89-96.

141. Адамович Г.А. Солженицын // Рус. мысль. Париж, 1969. 20 марта. Прил. С.1.

142. Адамович Г.А., Газданов Г.И., Струве Н.А. О рома-не «Раковый корпус» А.Солженицына // Вестн. РХД. Па-риж: Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.113-128.

143. Андреев Ю. Размышление о повести А.Солженицы-на «Один день Ивана Денисовича» в контексте литературы начала 1960-х годов // Радуга. Киев, 1991. № 6. С.109-117.

144. Анищенко Г. Пророк и отечество // Вестн. РХД. Париж: Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.106-112.

145. Арон Р. О Солженицыне: Из кн. «Воспоминания» // Рус. мысль. Париж, 1983. 17 нояб. № 3491. С.13.

146. Архангельский А.Н. Архипелаг Солженицына: Ве-ликому русскому писателю 75 лет // Новое время. М., 1993. № 51. С.40-42: ил.

147. Архангельский А.Н. ...И приветствую звоном счита// Новый мир. М., 1996. № 5.— С.217-219.

148. Архангельский А.Н. О символе бедном замолвите слово: «Малая» проза Солженицына: поэзия и правда // Лит. обозрение. М., 1990. № 9. С.20-24.

149. Архангельский А.Н. Поэзия и правда // Солжени-цын А.И. [Избранное]. М.: Мол. гвардия, 1991. С.7-40.

150. Астафьев В.П. Не надо опять отбирать и делить. Царя бы выбрать культурного / Беседа с В.Г.Бондаренко // Об-щая газ. М., 1996. 18/24 янв. С.11.

151. Астафьев В.П. Солженицын. Дорога домой: Виктор Астафьев размышляет о судьбе писателя, чьи книги верну-лись на Родину / Беседа вел Е.Черных // Комс. правда. М., 1989. 25 окт. С.4.

152. Афонский Г. Духовная природа человека в романах Солженицына // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 5дек. С.2.

153. Бабочкин Б.А. «...Исаичу еще будут стоять памятни-ки на Руси...»: Несколько страниц из дневника Бориса Ба-бочкина / Публ. Н.Б.Бабочкиной // Семь дней. М., 1993. 12 дек. № 49. С.1.

154. Басинский П.В. Сюжеты без романа? // Лит. газ. М., 1996. 31 июля. № 31. С.4.

155. Баталин А. «Я возвращаюсь в Россию, которая меня не читала...»: Александр Солженицын в Иркутской области // Там же. 1994. 22 июня. № 25. С.3.

156. Белинков А.В. Солженицын и большие ракового кор-пуса // Новый журн. Нью-Йорк, 1968. № 93. С.209-219.

157. Белинков А.В. Сталин у Солженицына: Из неиздан-ной кн. «Судьба и книги Александра Солженицына» // Но-вый колокол. Лондон, 1972. № 1. С.429-430.

158. Бёль Г. Четыре статьи о Солженицыне // Иност-ранная лит. М., 1989. № 8. С.228-237.

159. Бернштам М.С. Проклятый вопрос о цене идей // Дружба народов. М., 1992. № 4. С.167-185.

160. Борисов В.М. У Солженицына в Вермонте / Беседа вела А.Н.Латынина // Лит. газ. М., 1989. 29 нояб. С.5.

161. Борман А. Читая «Август Четырнадцатого» // Рус. мысль. Париж, 1971. 16 сент. № 2860. С.8.

162. Василевский А.В. Толстые журналы в октябре: Что бы мог написать Ю.Тынянов о романах Солженицына? // Неделя. М., 1997. № 40. С.27.

163. Вейдле В.В. О Солженицыне // Вестн. РСХД. Па-риж: Нью-Йорк, 1969. № 91/92. С.43-50.

164. Вейдле В.В. О Солженицыне // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.129-130.

165. Винокур Т.Г. О языке и стиле повести А.И.Солже-ницына «Один день Ивана Денисовича» // Вопр. культуры речи. М.: Наука, 1965. Вып.6. С.16-32.

166. Винокур Т.Г. С новым годом, шестьдесят вторым... // Вопр. лит. М., 1991. № 11/12. С.48-69.

167. Владимов Г.Н. Быть писателем: Г.Владимов в Бос-тоне / Записала и подготовила И.Муравьева // Рус. мысль. Париж, 1996. 7/13 нояб. № 4148. С.11.

168. Владимов Г.Н. В Президиум 4-го Всесоюзного съез-да советских писателей (копия А.Солженицыну) // Смена. СПб., 1989. № 22. С.11.

169. Владимов Г.Н. Режущая соринка в глазу // Моск. новости. М., 1994. 5/12 июня. № 23. С.1. 5А.

170. Владимов Г.Н. Только что же он сможет один...: К возвращению Солженицына // Рус. мысль. Париж, 1994. 2/8 июня. № 4032. С.1-2.

171. Вокруг письма Солженицына // Вестн. РСХД. Па-риж; Нью-Йорк, 1972. № 103. С.145-172.

172. Волгин И.Л. Возвращение билета: Александр Солже-ницын как плюралист // Лит. газ. М., 1995. 13 дек. № 50. С.6.

173. Волкова Г.М. Маскарад зла и катарсис авторского голоса: «Архипелаг ГУЛаг» А.Солженицына в свете идей М.Бахтина // М.М.Бахтин и гуманитарное мышление на пороге XXI века: Тезисы докладов III Саранских бахтин-ских чтений: В 2 ч. Саранск, 1995. Ч.2. С.18-21.

174. Воробьев А. «Август Четырнадцатого» с военной точ-ки зрения // Рус. мысль. Париж, 1971. 18 нояб. № 2869. С.7.

175. Газизова А.А. Конфликт временного и вечного в по-вести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Лит. в шк. М., 1997. № 4. С.72-79.

176. Гашева Н.В. Черты кинематографичности «Архипела-га ГУЛаг» А.Солженицына / Перм. гос. ун-т им. А.М.Горько-го. Пермь, 1994. 7 с. Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 48889 от 2.02.94.

177. Геллер М.Я. Александр Солженицын: писатель на все времена // Рус. мысль. Париж, 1981. 21 мая. № 3361. С.11.

178. Геллер М.Я. Возвращение памяти: Вокруг Солжени-

- цына // Вести. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1974. № 111. С.90-107.
179. Геллер М.Я. Вчера и сегодня в «Красном Колесе» А.Солженицына // Обозрение. Париж, 1985. Ноябрь. № 17. С.11-19.
180. Геллер М.Я. Солженицын и Ленин // Вестн. РХД. Париж, Нью-Йорк, 1976. № 117. С.170-177.
181. Герлинг-Грудзинский Г. Егор и Иван Денисович // Континент. Мюнхен, 1978. № 18. С.203-211.
182. Глюксман А. Хайдеггер и Солженицын // Континент. Мюнхен, 1988. № 57. С.223-224.
183. Год Солженицына: Анкета «ЛГ» / С.Лесневский, Л.Аннинский // Лит. газ. М., 1991. 27 февр. № 8. С.10.
То же / В.Максимов, Вл.Новиков // Там же. 20 марта. № 11.— С.10.
То же / Д.Лихачев, И.Роднянская // Там же. 10 апр. № 14. С.10.
То же / А.Марков, Ж.Нива // Там же. 24 апр. № 16. С.10.
То же / И.Волгин, А.Василевский // Там же 8 мая. № 18. С.10.
То же / В.Солоухин, В.Страда // Там же. 22 мая. № 20. С.10.
То же / Л.Сараскина, Б.Буров, Ю.Нагибин // Там же. 5 июня. № 2. С.10.
То же / И.Грекова, П.Горелов, В.Кардин // Там же. 19 июня. № 24. С.10.
То же / Е.Старикова, А.Латынина, М.Окутюрье // Там же. 3 июля. № 26. С.10.
То же / В.Казак, А.Немзер, Н.Струве, В.Турбин // Там же. 17 июля. № 28. С.10-11.
184. Голубков М.М. Книга о Солженицыне // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. М., 1995. № 1. С.136-138.
185. Голубков М.М. А.И.Солженицын // История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена / МГУ им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. М., 1998. С.420-447.
186. Гордиенко Т.В. Особенности языка и стиля рассказа А.И. Солженицына «Матрёнин двор» // Рус. словесность. М., 1997. № 3. С.66-68.
187. Гребенщиков В. Генерал Самсонов // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1972. 20 авг. № 22713. С.7.
188. Гребенщиков В. Матрёна, Фаддей и другие // Там же. 1969. 30 нояб.
189. Гродзенский С.Я. Миша // Звезда. СПб., 1994. № 6. С.59-64.
190. Грязневич В.И. Пророк чужак, интеллигент // Там же. С.135-145.
191. Гуль Р.Б. Его «вопл» услышан // Слово. М., 1992. № 1/6. С.42-47.
192. Гуль Р.Б. Ленин и «Архипелаг ГУЛаг» // Новый журн. Нью-Йорк, 1974. Кн.115. С.228-250.
193. Гуль Р.Б. А.Солженицын в СССР и на Западе: Болдался телёнок с дубом // Новый журн. Нью-Йорк, 1975. Кн.120. С.233-256.
194. Гуль Р.Б. Солженицын и соцреализм // Гуль Р. Одвуконь. Нью-Йорк: Мост, 1973. С.80-95.
195. Гуль Р.Б. А.Солженицын, соцреализм и школа Ремизова // Новый журн. Нью-Йорк, 1963. Кн.71. С.58-74.
196. Гуль Р.Б. 65-летие А.И.Солженицына // Там же. 1984. Кн.154. С.5-7.
197. Гуральник Е.М. Воплощение авторского замысла в рассказе А.И. Солженицына «Захар-Калита» // Лит. в шк. М., 1997. № 4. С.124-135.
198. Дубинин М.А. Солженицын и Л.Толстой // Рус. мысль. Париж, 1972. 24 февр. № 2883. С.6.
199. Елисеев Н.Л. «Август Четырнадцатого» Александра Солженицына сквозь разные стекла // Звезда. СПб., 1994. № 6. С.145-153.
200. Есть кому написать об Иосифе Бродском // Коммерсант daily. М., 1996. 1 февр. С.13.
201. Желягин В. Солженицын и национальное возрождение // Посев. Frankfurt a/M., 1988. № 12. С.4-8.
202. Живов В.М. Как вращается «Красное Колесо» // Новый мир. М., 1992. № 3. С.246-249.
203. Завалишин В. Повесть о «мертвых домах» и советском крестьянстве: Об «Одном дне Ивана Денисовича» А.Солженицына // Грани. Frankfurt a/M., 1963. № 54. С.133-150.
204. Зайонц М., Немзер А. В зале старинного замка: «Пир победителей» А. Солженицына: Постановка Б.Морозова. Худ. И.Сумбаташвили. Малый театр // Сегодня. М., 1995. 28 янв. № 17. С.12.: ил.
205. Зайцев Б.К. Письмо Солженицыну // Вестн. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1969. № 94. С.97-99.
206. Залуцкая М. Герой-борец А.Солженицына в кругу первом // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1970. 27 янв.
207. Залуцкая М. Матрёна и ее двор // Там же. 1969. 28 сент. С.5.
208. Залуцкая М. Солженицын и Достоевский // Там же. 1972. 23 апр. С.2.
209. Залыгин С.П., Золотусский И.П. «Природа единственна и не революционна»: Диалог // Лит. газ. М., 1992. 28 окт. № 14. С.5.
210. Замятин на фоне эпохи / Публ. А.Н. Стрижева // Лит. учеба. М., 1994. Кн.3. С.101-121.
211. Заславский Г. Чистая работа: «Пир победителей», комедия в стихах. Пьеса Александра Солженицына, постановка Бориса Морозова // «Независимая газ. М., 1995. 27 янв. № 14. С.4.
212. Золотусский И.П. «Пройти безвредно между чудес и чудовищ» // Лит. обозрение. М., 1990. № 1. С.4-8.
213. Золотусский И.П. Солженицын. Круг первый // Моск. новости. М., 1990. 26 авг. № 34. С.14.
214. Иванова А.И. Солженицын Александр Исаевич // Философия России XIX-XX столетий: Биографии, идеи, труды. М.: Кн. и бизнес, 1995. С.551-552.
215. Иоанн, архиеп. Сан-Францисский. Письмо Солженицына Патриарху // Рус. мысль. Париж, 1972. 27 апр. № 2892. С.5.
216. Калашникова С.М. Особенности хронотопа в романе А.И.Солженицына «Август Четырнадцатого» // М.М. Бахтин и проблемы современного гуманитарного знания: Материалы межвуз. науч. конф.: (27 сент. 1995, Ростов-на-Дону) // Ростовск. гос. ун-т; Каф. теории и истории мировой лит.; Фак. филол. и журналистики. Ростов-на-Дону, 1995. С.37-41.
217. Карелин Ф. По поводу письма о.Сергия Желудкова А.Солженицыну // Вестн. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1972. № 103. С.160-172.
218. Карпович В.В. Исследование новообразований и далевских слов у Солженицына // Грани. Frankfurt a/M., 1974. № 94. С.236-266.
219. Карпович В.В. Некоторые черты языка Солженицына // Зап. рус. акад. группы в США = Transactions of the Association of Russian-American scholars in USA. N.Y., 1972. Т.6. С.36-45.
220. Карпович В.В. Читая «Август Четырнадцатого» // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 26 дек. № 22475. С.5.
221. Катенши Ф.-Ж. Колесо цвета крови: К выходу французского перевода третьего тома третьего узла «Красного Колеса» // Рус. мысль. Париж, 1998. 12-18 февр. № 4209. С.7. Перевод статьи из парижской газ. «Монд» от 30 янв. 1998 г.
222. Келер Л. «Раковый корпус» Солженицына: Высокое мастерство и предельная искренность // Возрождение. Париж, 1969. № 205. С.57-69.
223. Келер Л. Торжество духа: О романе А. Солженицына «В кругу первом» // Там же. № 209. С.71-86.

224. Киселев А. Варсонофьев и Н.Ф. Федоров // Новый журн. Нью-Йорк, 1973. Кн.110. С.296-299.
225. Клейман Л. Заметки о «Раковом корпусе» А.Солженицына // Грани. Frankfurt a/M., 1972. № 83. С.79-112.
226. Клейман Л. Человек и природа в произведениях А.Солженицына: (Некоторые аспекты темы) // Там же. № 86. С.117-137.
227. Клинг О.А. «...К лучшему в себе, к лучшему в себе...»: Попытка портрета Е.Б.Тагера с приложением его отзыва о «Раковом корпусе» и ответа А.И.Солженицына // Вопр. лит. М., 1991. № 11/12. С.70-91.
228. Константинов Д. Духовные основы «Августа Четырнадцатого» // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 31 окт. № 22419. С.2.
229. Краснов В.Г. Воскрешение Столыпина // Грани. Frankfurt a/M., 1986. № 141. С.154-185.
230. Краснов В.Г. Многоголосость героев в романе Солженицына «В круге первом» // Там же. Frankfurt a/M. 1977. № 103. С.155-175.
231. Кредов С. О пользе «гнусных вопросов»: Какая традиция связывает Гоголя с Солженицыным? // Рус. слово. XXI век. М., 1994. № 1. С.1.
232. Кублановский Ю.М. «Август Четырнадцатого» Александра Солженицына: У истоков стиля // Рус. мысль. Париж, 1983. 20 окт. № 3487. С.12.
233. Кублановский Ю.М. Александр Солженицын: Последний день рождения на чужбине: Сегодня исполняется 75 лет классику советской антисоветской литературы // Независимая газ. М., 1993. 11 дек. С.1; ил.
234. Кублановский Ю.М. В ожидании слова // Северо-Восток: Прил. к «Сибирск. газ.» Новосибирск, 1991. № 3. С.14.
235. Кублановский Ю.М. Возвращение // Комс. правда. М., 1990. 18 февр. С.4.
236. Кублановский Ю.М. Воскрешение истории // Кн. обозрение. М., 1990. 12 окт. С.10.
237. Кублановский Ю.М. Зрячая любовь: О новых публикациях Солженицына // Труд. М., 1995. 20 мая. С.3.
238. Кублановский Ю.М. «...И всё мне переосветилось» // Москва. М., 1992. № 5/6. С.190-191.
239. Кублановский Ю.М. «Используя известную классификацию Данте» // Новый мир. М., 1995. № 9. С.233-236.
240. Кублановский Ю.М. Ко всем нам // Лит. газ. М., 1990. 14 февр. С.7.
241. Кублановский Ю.М. Кто есть кто: Еще раз о возвращении Солженицына // Русь. Владимир, 1995. № 1. С.68.
242. Кублановский Ю.М. «Март Семнадцатого»: Хроника исторической катастрофы // Грани. Frankfurt a/M., 1987. № 144. С.183-199.
243. Кублановский Ю.М. На руинах утопии // Лит. газ. М., 1990. 7 нояб. № 45. С.4.
244. Кублановский Ю.М. Неостывающее слово: О публицистике Александра Солженицына // Труд. М., 1996. 28 марта. С.7.
245. Кублановский Ю.М. О Всероссийской мемуарной библиотеке // Кн. обозрение. М., 1990. 8 июня. С.10.
246. Кублановский Ю.М. Образ императрицы в «Красном Колесе» А. Солженицына // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.150-174.
247. Кублановский Ю.М. Последний день рождения на чужбине // Независимая газ. М., 1993. 11 дек. № 238. С.1.
248. Кублановский Ю.М. Привкус счастья и бедствия / Интервью взяла Е.Якович // Лит. газ. М., 1990. 14 февр. С.7.
249. Кублановский Ю.М. Провиденциальность писателя // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1985. № 8. С.21-22.
250. Кублановский Ю.М. Прыжок в Россию // Начало. М., 1992. -№ 21. С.5.
251. Кублановский Ю.М. «С того берега» о Солженицыне // Новый мир. М., 1993. № 11. С.242-245.
252. Кублановский Ю.М. Солженицын городу и миру // Посев. Frankfurt a/M., 1988. № 12. С.14-16. (Солженицын — голос России).
253. Кублановский Ю.М. Солженицын при демократии // Труд. М., 1997. 26 февр. № 37. С.1,6; портр.
254. Кублановский Ю.М. Спасение через слово // Новый мир. М., 1996. № 6. С.227-232.
255. Кублановский Ю.М. Стиль и историософия «Красного Колеса» А.И.Солженицына // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1989. № 1. С.283-293.
256. Кублановский Ю.М. Хроника, роман, эпос... // Кн. обозрение. М., 1989. 20 окт. № 42. С.4-5.
257. Кублановский Ю., Дюжева Н. Полтора часа с Солженицыным // Рус. мысль. Париж, 1983. 15 дек. № 3495. С.4; ил.
258. Курбатов В. Пока мы не ответим // Москва. М., 1993. № 5. С.131-132. (Из дневника критика).
259. Лаврѐнов П.П. Национальный характер в рассказе А.Солженицына «Матрѐнин двор» // Вестн. Белорус. ун-та им. В.И.Ленина. Сер.4, Филология. Журналистика. Педагогика. Психология. Минск, 1992. № 3. С.15-18.
260. Лавров В. Лицо // Нева. М., 1993. № 12. С.255-263.
261. Лакшин В.Я. Булгаков и Солженицын: К постановке проблемы // Лакшин В.Я. Берега культуры. М.: МИРОС, 1994. С.263-269.
262. Лакшин В.Я. Возвращение Солженицына // Там же. С.307-324.
263. Лакшин В.Я. Иван Денисович, его друзья и недруги // Новый мир. М., 1964. № 1. С.223-245. То же. // Лакшин В.Я. Берега культуры. М.: МИРОС, 1994. С.270-307.
264. Лалакин Н. Солженицын в Мильцеве // Лалакин Н. Память благовеста: Докум. повесть. М.: Соврем. писатель, 1993. С.135-157.
265. Латынина А.Н. Двадцать лет спустя: Солженицын снова в России // Лит. газ. М., 1994. 11 июля. № 22. С.3.
266. Латынина А.Н. Красный директор и молодой банкир в условиях дикого рынка // Там же. 17 июля. № 29. С.4.
267. Латынина А.Н. Крушение идеократии: От «Одного дня Ивана Денисовича» к «Архипелагу ГУЛаг» // Лит. обозрение. М., 1990. № 4. С.3-8.
268. Латынина А.Н. Кто с Солженицыным? // Взгляд: Сб. М.: Сов. писатель, 1991. Вып.3. С.106-126.
269. Латынина А.Н. Отложенные замыслы: Параллельные жизнеописания: версия Солженицына // Лит. газ. М., 1995. 5 июля. № 27. С.4.
270. Латынина А.Н. После сражения с дубом: 20 лет Александр Солженицын работал над мемуарами, публикацию которых начал «Новый мир» // Там же. 1998. 9 сент. № 36. С.1,9. В текст ст. включено интервью с Н.Д.Солженицыной.
271. Латынина А.Н. Солженицын и мы // Новый мир. М., 1990. № 1. С.241-258.
272. Латынина А.Н. У Солженицына в Вермонте / Беседа с В.Борисовым // Лит. газ. М., 1989. № 48. С.5.
273. Левицкий С. Под знаменем добра и справедливости // Посев. Frankfurt a/M., 1975. № 6. С.56-59.
274. Левицкий С. Этика Солженицына // Новый журн. Нью-Йорк, 1971. Кн.102. С.111-123.
275. Лекманов О.А. «От железной дороги подале, к озерам...»: О том, как устроено пространство в рассказе А.И.Солженицына «Матрѐнин двор» // Рус. мысль. Париж, 1998. 7/13 мая. № 4221. С.13.
276. Лерт Р.Б. Хотим ли мы вернуться в XVI век? // Лерт Р.Б. На том стою: Публикации «самиздата». М.: Моск. рабочий, 1991. С.32-54.

277. Лерт Р.Б. Этика и история в романе «Август Четырнадцатого» // Там же. С.136-165.
278. Лесневский С.С. «Будь гражданином...» // Кн. обозрение. М., 1990. 28 сент. С.3.
279. Лесневский С.С. «Одно слово правды весь мир перетянет» // Там же. 1989. 11 авг. № 32. С.8.
280. Лесневский С.С. Судьба сгорела между строк / Беседа с Л. Фомина // Моск. правда. М., 1989. 4 окт. С.3.
281. Линьков Р. Митрополит Иоанн против Александра Солженицына // Смена. СПб., 1994. 6 июля. С.2.
282. Липовецкий М.Н. Приветная песнь совка: О Солженицыне по канонам соцреализма // Лит. газ. М., 1994. 5 окт. № 40. С.4.
283. Лифшиц М.А. О повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Вопр. лит. М., 1990. № 7. С.74-75.
284. Лифшиц М.А. О рукописи А.И. Солженицына «В кругу первом» // Там же. С.75-83.
285. Лосев Л.В. Великолепное будущее России: Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына // Континент. Мюнхен, 1984. № 42. С.289-320.
286. Лосев Л.В. Поэзия и правда у Солженицына // Эхо = Echo. Paris, 1986. № 4. С.234-253.
287. Лосев Л.В. Солженицынские евреи // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1989. № 1. С.294-311.
288. Лурье Я.С. Александр Солженицын: эволюция его исторических взглядов // Звезда. СПб., 1994. № 6. С.117-125.
289. Любимов Б.Н. Жить не по лжи // Сов. экран. М., 1989. № 13. С.13.: ил.
290. Любимов Б.Н. Март семнадцатого в «Марте Семнадцатого» // Любимов Б.Н. Действо и действие. М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1997. Т. 1. С.386-390.
291. Любимов Б.Н. Миросозерцание Солженицына // Там же. С.391-395.
292. Любимов Б.Н. Плотность творчества и объем жизни: Феномен публицистики Александра Солженицына // Кулиса НГ.: Прил. к «Независимой газ.» М., 1998. Февр. № 3.
293. Любимов Б.Н. Предсказывающий историю: Царственное слово // Любимов Б.Н. Действо и действие. М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1997. Т.1. С.359-380.
294. Любимов Б.Н. Смысл жизни // Там же. С.381-185.
295. Любимов Б.Н. Солженицын драматург: Заметки критика // Театр. жизнь. М., 1989. № 14. С.12-13.: портр.
296. Любимов Б.Н. Царственное слово // Сегодня. М., 1995. 8 февр. № 24. С.9.
297. Мамантов И.А. Религиозные мотивы у Солженицына // Новый журн. Нью-Йорк, 1974. Кн.114. С.220-224.
298. Миркштайн Э. О повествовательной структуре «Архипелага ГУЛаг» // Филол. зап. Воронеж, 1993. Вып.1. С.91-101.
299. Медовой И. Солженицын и мы: (К 75-летию А.И. Солженицына) // Культура. М., 1993. 11 дек. С.1.
300. Миркович Е. Писатель-летописец // Посев. Frankfurt a/M., 1988. № 2. С.2-4.
301. Можаяв Б.А. Возвращение гражданина и причуды пошлости // Можаяв Б.А. Затмение: Рассказы. Очерки. М.: Труд, 1995. С.419-430.
302. Можаяв Б.А. Каинова печать и нателный крест: Письмо в ред. // Аргументы и факты. М., 1990. 26 янв. С.5.
303. Можаяв Б.А. Мы еще помужествуем // Лит. газ. М., 1993. 15 дек. № 50. С.3.
304. Можаяв Б.А. «О чем шумите вы, народные витии?» // Можаяв Б.А. Затмение: Рассказы. Очерки. М.: Труд, 1995. С.410-419.
305. Можаяв Б.А. Пустоплясы // Лит. газ. М., 1992. 15 июля. № 29. С.3.
306. Можаяв Б.А. Серьезное время // Век XX и мир. М., 1989. № 1. С.4-7.
307. Муромский В.П. История литературной полемики вокруг повести «Один день Ивана Денисовича» // Лит. в шк. М., 1994. № 3. С.26-30.
308. Назаров М. Два кредо: Этика и эстетика у Солженицына и у Бродского // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.175-192.
309. Неймирок А. «Россию жалко...»: (О романе А. Солженицына «Август Четырнадцатого») // Грани. Frankfurt a/M., 1971. № 82. С.173-182.
310. Некрасов В.П. Исачу // Континент. Мюнхен, 1978. № 18. Спец. прил. С.3-5.
311. Немзер А.С. Взгляд на русскую прозу в 1995 г. // Сегодня. М., 1995. 23 дек. С.7.
312. Немзер А.С. Герои нашего времени из андерграунда // Известия. М., 1998. 30 янв. № 17. С.6.
313. Немзер А.С. Дарование и поручение // Сегодня. М., 1993. 11 дек. № 93. С.14: ил.
314. Немзер А.С. Две стратегии: «Наши плюралисты» на новом витке // Независимая газ. М., 1992. 4 июня. С.5,7.
315. Немзер А.С. Имя, ставшее словом: Солженицын. «Звезда», № 6 // Сегодня. М., 1994. 28 окт. С.10.
316. Немзер А.С. Любовь к истине как писательский стиль // Там же. 27 мая. № 98. С.9.
317. Немзер А.С. На валу истории: Заметки о творчестве А.И. Солженицына: К выходу в свет «Апреля Семнадцатого» и отечественной публикации «Бодался теленок с дубом» // Независимая газ. М., 1992. 26 февр. № 38. С.5.
318. Немзер А.С. Непредусмотренный голос // Там же. 19 нояб. С.7.
319. Немзер А.С. Облачно с прояснениями: Заметки о критике — 90 // Лит. обозрение. М., 1991. № 2. С.26-37.
320. Немзер А.С. Прозревая Россию: Заметки о «Марте Семнадцатого» // Там же. 1990. № 12. С.19-27. (Читаем Солженицына).
321. Немзер А.С. Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В кругу первом» // Там же. № 6. С.31-37.
322. Немзер А.С. Сегодня и о сегодняшнем // Сегодня. М., 1995. 22 нояб. № 221. С.10.
323. Немзер А.С. Современный диалог с Гоголем // Новый мир. М., 1994. № 5. С.208-225.
324. Непомнящий В.С. Солженицына нужно заслужить // Культура. М., 1998. 10/16 дек. № 46. С. 1.
325. Нива Ж. Весьма разумная утопия Александра Солженицына // Рус. мысль. Париж, 1990. 19 окт. № 3850. С.9: портр.
326. Нива Ж. От одной «глыбы» к другой // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.131-136.
327. Нива Ж. Писатель в России утратил венец философа / Беседа с Ю. Коваленко // Известия. М., 1994. 26 янв. С.14.
328. Нива Ж. Поэма о «разброде добродетелей» // Континент. М.; Париж, 1993. № 75. С.286-295.
329. Нива Ж. «Пророки живут в своих отечествах!» утверждает профессор Женевского университета Жорж Нива / Г. Анджапаридзе, А. Шуплов, Д. Ильичёв // Кн. обозрение М., 1993. 14 мая. № 19. С.22.
330. Нива Ж. Слово и взгляд у Солженицына // Континент. Мюнхен, 1978. № 18. С.309-338.
331. Нива Ж. Солженицын двадцать лет спустя // Рус. мысль. Париж, 1982. 2 сент. № 3428. С.7: ил.
332. Нива Ж. Солженицын и мы // Обозрение: Аналитич. журн. «Рус. мысли». Париж, 1985. Ноябрь. № 17. С.3-10.
333. Нива Ж. Солженицын и Россия: Пер. с фр. // Рус. мысль. Париж, 1992. 3 янв. № 3911. С.9: ил.
334. Нива Ж. Страна остро нуждается в дебатах // Там же. 1995. 27 апр./3 мая. № 4075. С.8.

335. Новиков Вл.И. Раскрепощение: Воспоминания читателя // Знамя. М., 1990. № 3. С.210-216.
336. Новиков Вл.И. С чужого «я» начнется литература XXI века // Новиков Вл.И. Заскок. М.: Кн. сад, 1997. С.175-179.
337. Новиков Вл.И. Табель читабельности // Общая газ. М., 1994. № 32. С.10.
338. Оболенский С. «Ткань истории» у Солженицына // Возрождение. Париж, 1971. Июль. № 239. С.151-159.
339. Одабашьян П.С. Духовный мир героев А.И.Солженицына // Грани. Frankfurt a/M., 1978. № 89/90. С.246-268.
340. Орлицкий Ю.Б. «Крохотки» А.Солженицына в контексте русской «малой прозы» // Рус. классика 20 в.: Пределы интерпретации: Сб. материалов науч. конф. Ставрополь, 1995. С.83-86.
341. Орловская-Бальзамо Е. Ипполит Тэн и Александр Солженицын: точки соприкосновения: Глава из неизд. кн. «Солженицын перед судом истории» / Пер. Г.Шумиловой // Новое лит. обозрение. М., 1995. № 13. С.338-347.
342. Орловская-Бальзамо Е. Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн / Пер. с фр. Д.Румянцевой // Новый мир. М., 1996. № 7. С.195-211.
343. Паламарчук П.Г. Возвращение // Грани. Frankfurt a/M., 1992. № 166. С.297-302.
344. Паламарчук П.Г. Второе действие «Красного Колеса»: Эпопея Солженицына окончена. Колесо катится дальше // Лит. Россия. М., 1991. 4 окт. № 40. С.10-12.
345. Паламарчук П.Г. Умысленны ли искажения // Там же. 1989. 24 нояб. № 47. С.6.
346. Паламарчук П.Г. Читать Александра Солженицына! // Наш современник. М., 1990. № 12. С.119-121.
347. Панин Д.М. Возражения Солженицыну // Современник. Торонто, 1979. № 43/44. С.199-203.
348. Пашин Н. Язык и структура «Августа Четырнадцатого» // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 21 нояб. С.2.
349. Плетнев Р. «Август Четырнадцатого» // Рус. мысль. Париж, 1971. 18 нояб. № 2869. С.7.
350. Подгорная С. Коллективный труд о Солженицыне // Грани. Frankfurt a/M., 1972. № 84. С.212-215.
351. Померанцев К.Д. В начале был «Один день Ивана Денисовича» // Рус. мысль. Париж, 1978. 14 дек. № 3234. С.9: портр.
352. Померанцев К.Д. «Двадцатый век» Роя Медведева // Там же. 1976. 2 сент. № 3115. С.6.
353. Померанцев К.Д. Добро и зло у Солженицына // Новый журн. Нью-Йорк, 1969. Кн. 95. С.149-158.
354. Померанцев К.Д. Слушая Солженицына // Рус. мысль. Париж, 1978. 27 июля. № 3214. С.6: портр.
355. Померанцев К.Д. Солженицын: знание нашего времени // Континент. Мюнхен, 1978. № 18. Спец. прил. С.6-12.
356. Померанцев К.Д. Солженицын и его мир // Рус. мысль. Париж, 1969. 20 марта. Прил. С.1.
357. Померанцев К.Д. Солженицын и Маркс // Там же. 1982. 18 марта. № 3404. С.10.
358. Померанцев К.Д. «Чем грозит Западу плохое понимание России» // Там же. 1980. 30 окт. № 3332. С.4.
359. Поремский В. Две перспективы // Посев. Frankfurt a/M., 1974. № 6. С.31-37.
360. Поспеловский Д.В. Вольные мысли о сборнике «Изпод глыб» // Грани. Frankfurt a/M., 1975. № 97. С.174-222.
361. Поспеловский Д.В. Загадка Н.И.Ульянова // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 15 авг. № 22342. С.2.
362. Потапов В. Звезда, река, загадка... Заметки об «Августе Четырнадцатого» // Лит. обозрение. М., 1990. № 11. С.18-22. (Читаем Солженицына).
363. Потапов В. Сеятель слово сеет: (О Солженицыне на возврате дыхания и сознания) // Знамя. М., 1990. № 3. С.204-209.
364. Рак И. «Озабоченный правдой» // Литература: Ежед. прил. к газ. «Первое сент.» М., 1996. Март. № 9. С.1-2: портр. (Новое в школьных программах).
365. Рак И. Русский словарь языкового расширения // Нева. Л., 1991. № 8. С.189.
366. Ранчин А.М. Летопись Александра Солженицына // Стрелец. Париж; М.; Нью-Йорк: Третья волна, 1995. № 1. С.176-192.
367. Ржевский Л.Д. Мастерство Солженицына // Наша страна. Буэнос-Айрес, 1969. 27 мая. С.4.
368. Ржевский Л.Д. Образ рассказчика в повести «Один день Ивана Денисовича» // Ржевский Л.Д. Прочтенье творческого слова: Литературоведческие проблемы и анализы. N.Y.: Univ. press, 1970. С. 237-252.
369. Ржевский Л.Д. Солженицын художник и «Архипелаг ГУЛаг» // Записки рус. акад. группы в США = Transactions of the Association of Russian-American scholars in USA. N.Y., 1974. Т. 8. С. 59-62.
370. Ржевский Л.Д. Творческое слово у Солженицына // Ржевский Л.Д. Прочтенье творческого слова: Литературоведческие проблемы и анализы. N.Y.: Univ. press, 1970. С. 219-235.
371. Роднянская И.Б. Уроки четвертого узла // Роднянская И.Б. Литературное семилетие. М.: Кн. сад, 1995. С.6-16.
372. Русланов С. (Краснов В.Г.) Эпигон Великого Инквизитора: К портрету Сталина в романе А.И.Солженицына «В круге первом» // Грани. Frankfurt a/M., 1974. № 92/93. С.279-294.
373. Рутыч Н.Н. Военная интеллигенция в творчестве Солженицына // Рутыч Н.Н. Думская монархия. СПб.: Logos, 1993. С. 76-84.
374. Рутыч Н.Н. Журнал боевых действий: О кн. А.И.Солженицына «Бодался теленок с дубом» // Посев. Frankfurt a/M., 1975. № 11. С.58-61.
375. Рутыч Н.Н. Исторические взгляды Солженицына: К выходу романа «Август Четырнадцатого» // Там же. 1971. № 8. С.57-59.
376. Рутыч Н.Н. Новая тотальная стратегия: По страницам кн. А.Солженицына «Ленин в Цюрихе» // Рутыч Н.Н. Думская монархия. СПб.: Logos, 1993. С.96-109.
377. Рутыч Н.Н. О «Ленине в Цюрихе» // Посев. Frankfurt a/M., 1976. № 8. С.38-45.
378. Рутыч Н.Н. От Воротынцева к Столыпину // Рутыч Н.Н. Думская монархия. СПб.: Logos, 1993. С. 68-75.
379. Рутыч Н.Н. Сталин в современной литературе // Посев. Frankfurt a/M., 1980. № 2. С.48-54.
380. Рутыч Н.Н. Страх перед Воротынцевым?: По поводу критики романа Солженицына «Август Четырнадцатого» // Там же. 1972. № 6. С.46-49.
381. Сараскина Л.И. Код Солженицына // Россия. М., 1996. № 1. С.56-57: ил.
382. Сараскина Л.И. Один год из жизни Александра Исаевича: Встреча Солженицына с Отечеством сложилась не просто // Век. М., 1995. 8/14 сент. № 35. С.11.
383. Сараскина Л.И. «Россия опять собирается с мыслями»: О поздней публицистике Ф.М.Достоевского и А.И.Солженицына // Звезда. СПб., 1994. № 6. С.109-116.
384. Сараскина Л.И. Театр Александра Солженицына // Современная драматургия. М., 1995. № 3/4. С.203-212.
385. Светов Ф.Г. Разделение...: (После «Очерков литературной жизни» А.Солженицына «Бодался теленок с дубом») // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк, 1977. № 121. С.195-236.
386. Седуру В. Не в уренье и с любовью, а в свете морального суда: Сталин в изображении А.Солженицына // Рус. мысль. Париж, 1978. 6 апр. № 3198. С.4.

387. Седуро В. Солженицын и традиции полифонического романа Достоевского // Современник. Торонто, 1977. № 32-36.
388. Семикоз Ю. [Предисловие к публикации фрагментов «Русского словаря языкового расширения»] // Кн. обозрение. М., 1990. 30 марта. № 13. С.5.
389. Сендеров В.А. К 70-летию Александра Солженицына: (Ответы на вопросы анкеты журнала «Выбор») // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк; М., 1988. № 154. С.99-105.
390. Слово о Солженицыне / В.А.Солоухин, И.Р.Шафаревиц, В.Н.Крупин, Л.И.Бородин, В.Г.Распутин // Наш современник. М., 1990. № 1. С.58-67.
391. Смирнов В. «Красное Колесо». Радиоверсия // Приазовский край. Ростов, 1997. 25 дек. № 51. С.1.
392. Сокольский А. Волнующие темы романа Солженицына «В круге первом» // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 5 сент. № 22363. С.2.
393. А.И.Солженицын во Франции // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк, 1975. № 115. С.258-263.
394. Солженицына Н.Д. «...Каждому, кому дорога Россия» / Интервью вел Ю.М.Кублановский // Рус. мысль. Париж, 1983. 22 дек. № 3496. С.10.
395. Солженицына Н.Д. Мы снова наконец на своем месте // Лит. газ. М., 1995. 5 апр. № 14. С.6.
396. Солженицына Н.Д. На своей земле / Беседа с К.Кедровым // Известия. М., 1992. 25 мая. № 121. С.7.
397. Солженицына Н.Д. Писатель должен быть силой объединяющей, а не разъединяющей / Беседа с К.Кедровым // Там же. 23 июля. № 168. С.3.
398. Солженицына Н.Д. Солженицыны / Беседа с Н.Желноровой // Аргументы и факты. М., 1997. № 50. С.3.6; № 51. С.9-10.
399. Солоухин В.А. Российский вечер в Вермонте // Лит. газ. М., 1993. 15 дек. № 50. С.3.
400. Спиваковский П.Е. «Архипелаг ГУЛаг» // Энциклопедия литературных произведений. М.: Вагриус, 1998. С.25-27.
401. Спиваковский П.Е. История, душа и «эго» // Лит. обозрение. М., 1996. № 1. С.48-50.
402. Спиваковский П.Е. Лексическое «расширение» в эпосе А.И.Солженицына «Красное Колесо» // Социальные и гуманитар. науки. Отеч. лит. Сер. 6, Языкознание: РЖ / ИНИОН РАН— М., 1994. № 4. С.54-64.
403. Спиваковский П.Е. «Матренин двор» // Энциклопедия литературных произведений. М.: Вагриус, 1998. С.284.
404. Спиваковский П.Е. «Один день Ивана Денисовича» // Там же. С.330.
405. Спиваковский П.Е. Полифония трансцендентальных миров: (Некоторые особенности художественной структуры эпоса А.И.Солженицына «Красное Колесо») // Филол. науки. М., 1997. № 2. С.34-46.
406. Спиваковский П.Е. Символическое осмысление жизненной реальности в эпических произведениях А.И.Солженицына 1950-1980-х гг. (на примере мотива руки) // Актуальные проблемы современного литературоведения: Материалы междуузовск. науч. конф. М.: Изд-во МГОПУ, 1988. Вып. 2. С.78-82.
407. Спиваковский П.Е. «Странные слова» Александра Солженицына // Социальные и гуманитар. науки. Зарубежная лит. Сер. 7. Литературоведение: РЖ / ИНИОН РАН. М., 1994. № 1. С.37-43.
408. Сталин и Солженицын // Посев. Frankfurt a/M., 1969. № 12. С.1.
409. Столыпин А.П. Столыпин и Николай II в «Августе Четырнадцатого» // Там же. 1984. № 3. С.58-60.
410. Столяров К.А. Дело капитана Солженицына: Факты и комментарии // Столяров К.А. Палачи и жертвы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997. С.331-360.
411. Страда В. Новая Россия Солженицына: Полит. реализм, органически спаянный с глубокой нравственностью // Рус. мысль. Париж, 1990. 12 окт. № 3849. С.8.
412. Страда В. Почему Солженицын против «имперского дурмана» // Лит. газ. М., 1990. 7 нояб. № 45. С.4.
413. Страда В. Три измерения Солженицына // Вече. Мюнхен, 1983. № 12. С.121-127.
414. Страда В. «Феномен Солженицына» и новая Россия // Лит. газ. М., 1992. 8 янв. № 2. С.4.
415. Струве Г.П. Кое-что о новом романе Солженицына // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 12 сент. № 22370. С.2; 19 сент. № 22377. С.2.
416. Струве Г.П. Об одном источнике «Августа Четырнадцатого»: Солженицын и генерал Франсуа // Там же. 3 окт. № 22391. С.2,4.
417. Струве Н.А. В ленинском духе: О выступлении проф. Е.Эткинда в Дании, март 1988 // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк, 1988. № 153. С.136-139.
418. Струве Н.А. К возвращению Солженицына в Россию: От ред. // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк, 1994. № 169. С.3-4.
419. Струве Н.А. Реставрируя будущее / Беседу вел С.Власов // Гермес. М., 1994. № 6. С.12.
420. Сурганов В. Один в поле воин // Лит. обозрение. М., 1990. № 8. С.5-13. (Читаем Солженицына).
421. Суриков В. О Солженицыне читая «Август» // Там же. 1994. № 7/8. С.3-14.
422. Тарасова Н. По гоголевским заветам: О новом рассказе А.Солженицына // Посев. Frankfurt a/M., 1963. 27 сент. № 39. С.7-8.
423. Таубер Е. «Матренин двор» А.Солженицына и «Живые мощи» И.Тургенева // Грани. Frankfurt a/M., 1964. № 55. С.229-232.
424. Твардовский А.Т. Вместо предисловия // Новый мир. М., 1962. № 11. С.8-9.
425. Телицына Т.В. Образность в «Архипелаге ГУЛаг» А.И.Солженицына // Филол. науки. М.: Высш. шк., 1991. № 5. С.14-24.
426. Темпест Р. Герой как свидетель: Мифологизика Александра Солженицына // Звезда. СПб., 1993. № 10. С.181-191.
427. Темпест Р. К проблеме героического мировоззрения: (Солженицын и Ницше) // Там же. 1994. № 6. С.93-108.
428. Темпест Р. Геометрия ада: Поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича» / Пер. с англ. Н. Жутовской // Звезда. СПб., 1998. № 12. С. 128-135.
429. Томашевская З.Б. И сей день не без завтрашнего // Там же. № 6. С.73-81.
430. Травин Д.Я. Авторитарный тормоз для «Красного Колеса» // Там же. № 6. С.125-135.
431. Тростников В.Н. О Гарвардской речи А.Солженицына // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк, 1979. № 128. С.358-361.
432. Ульянов Н.И. Загадка Солженицына // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1971. 1 авг. № 22328. С.2.
433. Фельштинский Ю.Г. «Красное Колесо» — книга будущего: Эссе // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1988. № 12. С.5.
434. Филиппов Б.А. Еще о партийности: Заметки о сов. лит. // Рус. мысль. Париж, 1976. 22 янв. № 3087. С.8.
435. Франк В.С. Солженицын и Толстой // Посев. Frankfurt a/M., 1971. № 7. С.54-57.
436. Фридлендер Г.М. О Солженицыне и его эстетике // Рус. лит. СПб.: Наука, 1993. № 1. С.92-99.
437. Харрис Д.Г. «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына и «литература достоверности» // Русская литература XX века: Исслед. амер. ученых. СПб.: Петро-РИФ, 1993. С.476-499.
438. Чудакова М.О. Облик и мысль великого соотечественника

- стенника: Телефильм о Солженицыне // Культура. М., 1992. 17 окт. № 24. С.3.
439. Чудакова М.О. Путь к себе: Лит. ситуация. 1989 / Беседа с Е.Канчуковым // Лит. обозрение. М., 1990. № 1. С.33-38.
440. Чудакова М.О. Сквозь звезды к терниям: Смена лит. циклов // Новый мир. М., 1990. № 4. С.242-262.
441. Чуковская Е.Ц. Вернуть Солженицыну гражданство СССР // Кн. обозрение. М., 1988. 5 авг. № 32. С.15.
442. Чуковский К.И. Литературное чудо // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1977. Т.2. С.768-769.
443. Шаламов В.Т. Письма А.Солженицыну // Знамя. М., 1990. № 7. С.62-89.
444. Шаховская З.А. О правде и свободе Солженицына // Слово. М., 1990. № 3. С.82.
445. Шилаев Е. Лагерный язык по произведениям Солженицына // Новый журн. Нью-Йорк, 1969. Кн. 95. С.232-247.
446. Шкловский Е.А. Чем жив человек: О повести «Раковый корпус» // Лит. обозрение. М., 1990. № 7. С.10-14.
447. Шмелев А.Д. Об орфографических воззрениях Солженицына // Рус. речь. М., 1993. № 5. С.119-121.
448. Шмеман А., прот. Зрячая любовь // Вестн. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 100. С.141-152.
449. Шмеман А., прот. «На злобу дня»: О Солженицыне и его обвинителях // Вестн. РХД Париж; Нью-Йорк, 1979. № 130. С.237-246.
450. Шмеман А., прот. О духовности, церковности и мифах: Ответ на письмо о Солженицыне // Вестн. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1972. № 106. С.245-258.
451. Шмеман А., прот. О молитве Александра Солженицына / Предисл. прот. И.Свиридова // Рус. мысль. Париж, 1994. 15/21 сент. № 4044. С.16: ил.
452. Шмеман А., прот. О Солженицыне // Вестн. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1970. № 98. С.72-87.
453. Шмеман А., прот. Ответ Солженицыну // Вестн. РХД. Париж; Нью-Йорк, 1976. № 117. С.121-135.
454. Шмеман А., прот. Сказочная книга // Вестн. РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1973. № 108/110. С.169-173.
455. Шнеерсон М. Будущее в прошедшем: «Март Семнадцатого» А.Солженицына // Посев. Frankfurt a/M., 1987. № 11. С.55-60.
456. Шнеерсон М. Великое противостояние душ // Грани. Frankfurt a/M., 1982. № 126. С.83-139.
457. Шнеерсон М. Главы, напечатанные петитом: Из наблюдений над «Красным Колесом» А.Солженицына // Там же. 1987. № 143. С.86-108.
458. Шнеерсон М. Голос Шухова в произведениях Солженицына: К 25-летию «Одного дня Ивана Денисовича» // Там же. № 146. С.106-133.
459. Шнеерсон М. Документальная правда и художественный вымысел: Из наблюдений над «Красным Колесом» А.Солженицына // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1987. № 1. С.20-27.
460. Шнеерсон М. Жить не по лжи // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1988. 9 дек. С.4: ил. (А.И.Солженицыну 70 лет).
461. Шнеерсон М. Загадка Богрова // Посев. Frankfurt a/M., 1987. № 9. С.43-48.
462. Шнеерсон М. Зов к раскаянию: Перечитывая «Архипелаг ГУЛАГ» // Новый американец. Нью-Йорк, 1980. 5/11 нояб. № 39. С.8-9.
463. Шнеерсон М. «И книги пусть текут...»: О собр. соч. А.Солженицына // Посев. Frankfurt a/M., 1985. № 9. С.56-58.
464. Шнеерсон М. «Крохотки» Александра Солженицына // Рус. мысль. Париж, 1982. 30 сент. № 3432. С.10.
465. Шнеерсон М. По журнальным страницам // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1986. № 6. С.18-19.
466. Шнеерсон М. По разным дорогам в одном направлении // Грани. Frankfurt a/M., 1994. № 174. С.126-163.
467. Шнеерсон М. «Помочь миру в его раскалённый час»: О полит. выступлениях Солженицына // Новый американец. Нью-Йорк, 1981. 31 окт. / 6 нояб. № 89. С.12-15.
468. Шнеерсон М. «Правило последних вершков»: О романе А.Солженицына «В круге первом» // Грани. Frankfurt a/M., 1983. № 129. С.18-49.
469. Шнеерсон М. Солженицын и наше поколение // Новый американец. Нью-Йорк, 1981. 29 авг./5 сент. № 81. С.14-15: портр.
470. Штурман Д.М. Блуд на крови: Письмо драматургу Шатрову // Лит. Россия. М., 1991. 5 апр. № 14. С.8-9.
471. Штурман Д.М. Время и слово // Посев. Frankfurt a/M., 1991. № 1. С.81-92. (Как нам обустроить Россию).
472. Штурман Д.М. Остановимо ли Красное Колесо?: Размышления публициста над заключительными Узлами эпопеи А.Солженицына // Новый мир. М., 1993. № 2. С.144-171.
473. Штурман Д.М. Публицистика в «Континенте» № 42-45 // Посев. Frankfurt a/M., 1986. № 4. С.56-61.
474. Штурман Д.М. Россия прошлого и будущего: Докл. на конф. «Александр Солженицын. Старая и новая Россия». Неаполь, сент. 1991 // Рус. мысль. Париж, 1991. 29 нояб. № 3906. С.12: портр.
475. Штурман Д.М. «С кем вы, мастера культуры?» // Голос зарубежья. Мюнхен, 1981. № 20. С.31-42; № 21. С.23-36.
476. Штурман Д.М. «...Солженицын, единственное оружие которого Слово, бескомпромиссно непримирим к насилью»: Беседа. Нью-Йорк Иерусалим, окт. 1988 / А.Глезер // Стрелец. Париж; Нью-Йорк, 1988. № 12. С.14-15.
477. Штурман Д.М. Солженицын и некоторые его читатели // Время и мы. Тель-Авив, 1988. № 100. С.215-224.
478. Штурман Д.М. Солженицын о Ленине в Цюрихе // Двадцать два. Рамат-Ган (Израиль), 1984. № 38. С.168-182; № 39. С.158-172.
479. Штурман Д.М. Солженицын: Россия прошлого и будущего // Смена. СПб., 1992. 12 июня. С.1,3.
480. Штурман Д.М. Солженицыну 70 лет // Голос зарубежья. Мюнхен, 1988. № 51. С.2-5.
481. Штурман Д.М. Стукачи и гонг справедливости // Время и мы. Тель-Авив, 1979. № 42. С.133-249.
482. Штурман Д., Тихвин С. [Приветствие к 70-летию] // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1988. 9 дек. С.4.
483. Шурмак Г. Новые рассказы Александра Солженицына // Грани. Frankfurt a/M., 1996. № 182. С.284-293.
484. Щедрина Н.М. Авторская оценка романа «Красное Колесо» в публицистике А.Солженицына // Критика и публицистика в системе духовной культуры. Тюмень, 1992. С.67-69.
485. Щедрина Н.М. Концепция истории в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // Русская литература конца XX века (80-90-е годы). Пути развития прозы и драматургии. Уфа, 1994. С.90-115.
486. Щедрина Н.М. Стилевые особенности романа А.Солженицына «Красное Колесо» // Актуальные проблемы современной филологии. Уфа, 1995. С.83.
487. Щедрина Н.М. Философский «спор» А.Солженицына с Л.Толстым в романе «Красное Колесо» // Классика и современный литературный процесс. Орс, 1992. С.43-45.
488. Щедрина Н.М. Форма авторской иронии в исторических произведениях М.Алданова, А.Солженицына // Русское художественное слово: Многообразие литературоведческих и лингвометодических методов. СПб., 1996. С.68-71.
489. Щедрина Н.М. Формы выражения авторского сознания в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // Поэтика русской и зарубежной литературы: Сб. ст. Уфа: Гилем, 1998. С.193-206.

490. Щедрина Н.М. Функции «хронотопа» в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // *Поэтика русской прозы XX века: Межвузовск. науч. сб.* — Уфа, 1995. С.81-99.
491. Ямпольская Е. «Пир победителей» в Малом театре // *Известия. М.*, 1995. 27 янв. № 16. С.2.
492. Atkinson D.G. Solzhenitsyn's heroes as Russian historical types // *Russian ed. N.Y.*, 1971. № 1. P.1-16.
493. Belinkov A. The writer as Russia's conscience // *Time. N.Y.*, 1968. Sept. 27. P.24-31.
494. Boldyreff C.W. Solzhenitsyn: The conscience of Russia // *Transactions of the Association of Russian — American scholars in USA. N.Y.*, 1972. Vol.6. P.29-35.
495. Bosquet A. Soljénitsyne et la Sainte Russie // *Gazette de Lausanne. Lausanne*, 1972. 14-15 Oct.
496. Cesereanu R. Soljenițin — ucenic al lui Dante // *Steaua. Buc.*, 1992. A.43, № 10. P.16-17.
497. Constant S. Great Russian realist // *Sunday elegraph. L.*, 1968. Sept. 29.
498. Daix P. Introduction a Une journée d'Ivan Denisovich // *Lettres Françaises. Paris*, 1969. № 967. P.1.6.
499. Drozda M. Románové umněi Aleksandra Solzenicyna // *Plamen. Praha*, 1969. № 4. S.76-81.
500. Dunlop J.B. Solzhenitsyn's sketches // *Transactions of the Association of Russian — American scholars in USA. N.Y.*, 1972. Vol.6. P.21-28.
501. Durden-Smith J. One man against the state // *Moscow Times. M.*, 1995. Nov. 14. № 838. P.1.
502. Glenny M. Alexander Solzhenitsyn and the epic tradition: Introducing «August 1914» // *Harpers Magazine. N.Y.*, 1972. Aug. P.50-52.
503. Glenny M. «No regime loves great writers» // *Life. N.Y.*, 1972. June 23. P.42-44.
504. Glenny M. Solzhenitsyn: no compromise // *Times Saturday Review. L.*, 1968. Sept. 21.
505. Grebenshikov V. Les cercles inferaux chez Soljénitsyne et Dante // *Canadian Slavonic papers. Toronto*, 1971. Vol.13, № 2/3. P.147-162.
506. Herling G. De Tchékov à Soljénitsyne // *Preuves. Paris*, 1963. № 148. P.46-49.
507. Kisseleff N. Literary and Themes in «The First Circle» // *Canadian Slavonic papers. Toronto*, 1971. Vol.13, № 2/3. P.219-232.
508. Koehler L. Alexander Solzhenitsyn and Russian Literary Tradition // *Syracuse (N.Y.)*, 1967. № 2. P.176-185.
509. Luplow R. Narrative style and structure in «One day in the life of Ivan Denisovich» // *Russian Literature Triquarterly. Ann Arbor (Mich.)*, 1971. № 1 (Fall). P.399-412.
510. Maccarty M. The Tolstoy connection // *Saturday Review Books. L.*, 1972. Sept. 16. P.70-82, 90-92, 96.
511. Melnikow G. A.I. Solzhenitsyn // *Canadian Slavonic papers. Toronto*, 1971. Vol.13, № 2/3. P.125-129.
512. Nivat G. Au tocsin de l'histoire // *Quinzaine littéraire. Paris*, 1970. 1 nov. P.12-14.
513. Nivat G. Etudes et miniatures // *Monde (Monde des Livres). Paris*, 1970. 23 oct. P.18.
514. Nivat G. Soljénitsyne: «La justice est la conscience de l'humanité» // *J. de Geneve. Samedi Lit. Geneve*, 1971. 29 Mai.
515. Obolensky A.P. Solzhenitsyn in the Mainstream of Russian Literature // *Canadian Slavonic papers. Vol.13, № 2/3. P.131-138.*
516. Pervushin N.V. Preliminary Remark on the Literary Craft of Solzhenitsyn // *Canadian Slavonic papers. Toronto*, 1971. Vol.13, №2/3. P.141-146.
517. Rea N. Nerzhin: A Sartrean Exisential Man // *Idid. P.209-216.*
518. Rus V J. One Day in the Life of Ivan Denisovich: A point of View Analisis // *Ibid. P.165-178.*
519. Shapiro I.H. Alexander Solzhenitsyn: One day in the life of Ivan Denisovich // *Slavic Review. Stanford (Cal.)*, 1963. Vol.22, №2. P.375-377.
520. Shapiro L. One day in the life of Ivan Denisovich // *New Statesman. L.*, 1963. Febr. 1.
521. Strada V. Gli ideali di Solgenitsyn // *Rinascità. Roma*, 1969. 14 ar.
522. Strada V. In difesto di Solgenitsyn // *Europa Letteraria. Roma*, 1964. № 26. P.5-13.
523. Strada V. La polemica sul Nobel a Solgenicyn // *Rinascità. Roma*, 1970. 16 ott. P.19.
524. Unbegau B.O. The «Language of Ultimate Clarity» // *Melbourne Slavonic Studies. Melbourne*, 1971. № 5/6. P.91-94.
525. Whitehorn A.J. What Men Live By: An Analysis of Solzhenitsyn's writings // *Canadian Slavonic papers. Toronto*, 1971. Vol.13, № 2/3. P.235-241.
526. Windle K. Symbolism and Analogy in Solzhenitsyn's *Cancer Ward* // *Ibid. P.193-206.*
527. Zamoyska H. «Le Pavillon des cancéreux» d'Alexandre Soljénitsyne // *Monde. Paris*, 1968. 24 août. Suppl. au № 7344. P.VI.
528. Zamoyska H. Le couronnement d'une grande oeuvre // *Ibid. 2 nov. Suppl. au № 7404. P.V. S/seconde partie du «Pavillon des cancéreux».*
529. Zamoyska H. Soljénitsyne // *Table ronde. Paris*, 1969. № 253. P.141-145.
530. Zamoyska H. Soljénitsyne et la grande tradition // *Ibid. 1963. № 185. P.61-81.*
531. Zamoyska H. Une descente en enfer: «Le Premier cercle» // *Monde. Paris*, 1969. 18 janv. Suppl. au № 7470. P.1-II.
532. Zavalishin V. Solzhenitsyn, Dostoevsky and Leshenkov-Klychkov // *Bull. of the Inst. for the Study of the USSR. Munich*, 1963. Nov. P.40-48.
533. Žekulin G. Aspects of peasant life as portayed in contemporary Soviet literature // *Canadian Slavonic Studies. Toronto*, 1967. Vol.16, № 1. P.552-565.
534. Žekulin G. Solzhenitsyn's Play: The Candle in the Wind: (The Which is in Thee) // *Canadian Slavonic papers. Toronto*, 1971. Vol.13, № 2/3. P.179-192.

4. Диссертации

535. Лаврёнов П.П. Проблемы русского национального характера в творчестве А.И.Солженицына: Нравственно-философский аспект: Дис. канд. филол. наук / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. М., 1992.
536. Субботина М.В. Метафорические отношения между ключевыми словами публицистического текста: (На материале публицистики Ф.Абрамова, В.Распутина, А.Солженицына): Дис. канд. филол. наук / МГУ им. М.В.Ломоносова. М., 1992.
537. Щедрина Н.М. Исторический роман в русской литературе последней трети XX века (пути развития, концепция личности, поэтика): Дис. д-ра филол. наук / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. М., 1996.
538. Carpovich V.V. Lexical peculiarities of the Solzhenitsyn's language: (Neologisms and Dahl's vocabulary). Ph. D., New York Univ., 1973.
539. Dovich W. Dostoevsky's «House of the Dead» and Solzhenitsyn's «One day in the life of Ivan Denisovich»: Studies in extreme reality. M.A., Univ. of Toronto, 1965.
540. Krasnov V.G. Polyphony of «The First circle»: A Study in the Solzhenitsyn's Affinity with Dostoevskij. Ph.D., Univ. of Washington (Seattle), 1974.
541. Perelmutter J. The Language of Solzhenitsyn's «Odn den' Ivana Denisoviča». M.A., McGill Univ., 1967.